PG3470
.T37
V8

Н. ТЕЛЕШОВ

ВСЕ ПРОХОДИТ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3470
.T37
V8

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
10003096766

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
APR 24 2004			
SEP 01 2004			

Form No. 513,
Rev. 1/84

Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/vseprokhoditrass00tele

Н. ТЕЛЕШОВ

13011
PG3470
.T37
V8
R6

ВСЕ ПРОХОДИТ

РАССКАЗЫ О ВСТРЕЧАХ И О БЫЛОМ

(Из литературных воспоминаний)

1. Встречи с А. П. Чеховым
2. Первые знакомства
3. Кружок „Среда“
4. Про Леонида Андреева
5. Самоучка
6. О Малом Театре.

*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ“

ТИПОГРАФИЯ
СЛОВОЛИТНЯ
„КРАСНАЯ ПРЕСНЯ"
М. Грузинская ул.,
Столярный п.,
№ 5-7

Главлит № 79207.

Тираж 3.000 экз.

ВСТРЕЧИ с А. П. ЧЕХОВЫМ

ВСТРЕЧИ с А. П. ЧЕХОВЫМ.

I

Я был еще юношей, когда впервые встретился с Антоном Павловичем Чеховым, в то время тоже еще молодым человеком и писателем только что замеченным. В эту осень вышла его первая книга рассказов „В сумерках“, за подписью „Антон Чехов“, а не „Чехонтэ“, как раньше. Он только что выступил на настоящую литературную дорогу; критика еще не решалась о нем заговорить, но читатели уже интересовались им, и сами его оценили, без посторонней помощи.

Около четверти века прошло с той поры до того печального времени, когда мы всей Москвой провожали Чехова с Николаевского вокзала в Новодевичий монастырь—до его могилы. Много за этот срок было встреч у меня с ним, много бесед и разговоров, но при имени Чехова всегда вспоминаются мне две встречи: первая и самая последняя. И два его образа: молодого, цветущего и затем безнадежно больного—умирающего, накануне от'езда его за границу, откуда он уже не вернулся живым.

С рассказами Чехова мне пришлось познакомиться довольно рано, почти в самом начале выступлений Антона Павловича в „Стрекозе“ и „Будильнике“, а потом на моей памяти, на моих глазах, так сказать, он начал переходить с юмористики на художественные темы. В то время он был известен не столько как Чехов, а больше как Чехонтэ—автор коротеньких веселых рассказцев. И слышать о нем приходилось не что-нибудь существенное и серьезное, а больше пустячки да анекдотики, вроде того, например, будто Чехов, нуждаясь постоянно в веселых сюжетах и разных смешных положениях для героев, которых

требовалось ему всегда множество, об'явил дома, что станет платить за каждую выдумку смешного положения по 10 копеек, а за полный сюжет для рассказа по 20 копеек, или по „двугривенному"—как тогда говорилось. И один из братьев сделался будто бы усердным его поставщиком. Или рассказывалась такая история: будто бы в доме, где жили Чеховы, бельэтаж отдавался под балы и свадьбы, поэтому нередко сквозь потолок вниз доносились звуки вальса, польки, кадрили с галопом – и чеховская молодежь, если бывали все в духе, начинала шумно изображать из себя приглашенных гостей и весело танцовать под чужую музыку. Не отсюда ли вышел впоследствие известный рассказ „Свадьба с генералом", и затем водевиль на ту же тему?...

В своих воспоминаниях о Чехове А. И. Куприн между прочим приводит такие слова самого Антона Павловича обо мне:

„Вы спросите Телешова сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у Белоусова".

Именно:—гуляли. Свадьба была веселая, шумная; много было молодежи; танцовали почти без отдыха—всю ночь.

В то время я был еще чужой в литературном мире. Не только не был ни с кем знаком, но ни с одним настоящим писателем даже не встречался; знавал их только по книгам. И вот, в разгаре свадебного шума, Белоусов подвел меня к высокому молодому человеку с красивым лицом, с русой бородкой и ясными, немного смешливыми глазами, точно улыбающимися из-за стекол пенсне:

— Чехов.

Я уже знал, читал и любил его рассказы. Слышал также, что Григорович, маститый старец, однажды сам пришел к Чехову—познакомиться с ним, как с молодым товарищем, которому он пророчил большое и славное будущее. И это внимание Григоровича, и личное впечатление от прочитанных рассказов и первая в жизни встреча с „настоящим" писателем—настроили меня восторженно. Хотелось сейчас же заговорить с ним о его книге, о том новом в литературе, что он дает; но Чехов предупредил меня иным, совершенно неожиданным вопросом:

— Вы в стуколку не играете?

— Нет.

— А со мной вот пришел Гиляровский. Жаждет поиграть в стуколку, да не знает—с кем. Вы знаете Гиляровского? Дядю Гиляя?... Да вот и он!—как говорят актеры в самых бездарных водевилях.

Подошел Гиляровский—познакомились. Он был во фраке, с георгиевской ленточкой в петлице. В одной руке держал открытую табакерку, другой рукой посылал кому-то через всю комнату привет, говорил Чехову что-то рифмованное, но глядел на меня в это время, но меня, кажется, не видел, занятый чем-то иным. Не успели мы и двух слов сказать для первого знакомства, как загремела опять музыка, и меня утащили танцовать.

— Идите, идите. А то на нас барышни будут из-за вас обижаться,—сказал мне вслед Антон Павлович.

На этом, может быть, и кончилось бы наше знакомство, если-б Антон Павлович в конце ночи, после свадебного ужина, не подошел ко мне и не позвал с собою:

— Скоро уж утро. Гости разъезжаются; пора уходить. Мы с Гиляем надумали пойти чай пить, в трактир. Хотите с нами? Скоро теперь трактиры откроются—для извощиков.

И мы пошли.

Нас было четверо: присоединился к нам еще брат Чехова Михаил Павлович, в то время—студент. Наняли двух извощиков и поехали разыскивать извощичий трактир. Где-то неподалеку, в одном из переулков, засветились окна трактира. Зимнее утро только что начиналось. Было еще темно.

Трактир был грязный, дешевый.

— Это и хорошо,—говорил Антон Павлович.—Если будем хорошие книги писать, так в хороших ресторанах еще насидимся.

Сели за стол, за серую, непросохшую с вечера скатерть. Подали нам чаю с лимоном. Но от кусочков лимона сильно припахивало луком.

— Превосходно!—ликовал Антон Павлович.—А вот вы жалуетесь, что сюжетов мало.—А это разве не сюжет?

Перед нашими глазами, я помню, была грязная пустая стена, выкрашенная когда-то масляной краской. На ней ничего не было, кроме сала и копоти да на некотором уровне широких темных пятен: это извощики во время чаепития прислонялись к ней в этом месте своими курчавыми головами, жирно смазанными деревянным маслом, по обыкновению того времени, и оставляли следы на многие годы.

С этой стены и пошел разговор о писательстве.

— Как так, сюжетов нет?—настаивал на своем Антон Павлович.—Да все сюжет, везде сюжет! Вот посмотрите на эту стену.

Ничего интересного в ней, кажется, нет. Но вы вглядитесь в нее, найдите в ней что-нибудь „свое“, чего никто еще в ней не находил. И опишите это. И, уверяю вас, хороший рассказ получится. И о луне можно написать хорошо, а уж на что тема затрепанная. И будет интересно. Только надо все-таки увидать в ней что нибудь „свое“, а не чужое.

— А это разве не сюжет?—указал он в окошко на улицу, где стало уже светать.—Вон, смотрите,—идет монах с книжкой собирать на колокол... Чего вам еще надобно? Монах... черный весь.. Разве не чувствуете, как сама завязывается хорошая тема?.. Тут есть что-то трагическое—в черном монахе!..

За чаем, который благодаря лимону, тоже припахивал луком, разговор перекидывался с литературы на жизнь, с серьезного на смешное. Между прочим, Чехов уверял нас, что никакой „детской“ литературы не существует:

— Везде только про Шариков да про Барбосов пишут. Какая же это „детская“? Это какая-то „собачья“ литература!—шутил Антон Павлович, стараясь говорить как можно серьезнее.

И сам же вскоре написал „Каштанку“ и „Белолобого“.

Гиляровский много острил, забрасывал хлесткими экспромтами, и время летело незаметно. Стало уже совсем светло. Улица оживилась. Мне было хорошо и весело. Даже не весело, а более того—радостно. Как сейчас вижу молодое милое лицо Чехова, его улыбающиеся глаза. Таким жизнерадостным, как в эту незабвенную первую встречу, я никогда уже, во всю жизнь, Антона Павловича не видал.

II

Вспоминается еще, как встретились мы однажды в вагоне. Встреча была совершенно случайная. Он ехал к себе в Лопасню, где был земским врачом, а я ехал в подмосковную дачную местность, Царицыно, снимать дачу на лето.

— Не ездите на дачу, ничего там интересного не найдете,— сказал Чехов, когда узнал мою цель.—Поезжайте куда-нибудь далеко, верст за тысячу, за две. Ну, хоть в Азию, что ли. Если времени мало, поезжайте на Урал: природа там чудесная. Перешагните непременно границу Европы, чтобы почувствовать под ногами настоящую азиатскую землю и чтоб иметь право сказать себе: Ну, вот я и в Азии! А потом можно и домой ехать. И даже на дачу. Но дело уже будет сделано. Сколько

М. Горький, Мамин-Сибиряк Д. Н., Телешов Н. Д., Бунин, И. А.

всего увидите, сколько рассказов привезете. Увидите народную жизнь, будете ночевать на глухих станциях, в избах; и клопы вас будут есть. Но это хорошо. После скажете мне спасибо... Только по железным дорогам надо ездить непременно в третьем классе, а то ничего интересного не услышите. Если хотите быть писателем, завтра же купите билет до Нижнего. Оттуда по Волге.

Он начал давать практические советы: как будто вопрос о моей поездке был уже решен. На станции Царицыно, когда я выходил из вагона, Антон Павлович на прощанье опять сказал:

— Послушайтесь доброго совета; купите завтра билет до Нижнего.

Я послушался—и через несколько дней уже плыл по реке Каме, без цели и назначения, направляясь пока в Пермь. За Уралом я увидел изумительную жизнь наших переселенцев, почти сказочные невзгоды и тягости народной, мужицкой жизни. И когда вернулся, у меня был готов целый ряд сибирских рассказов, которые и открыли тогда передо мной впервые страницы толстых журналов.

Прошло немало лет от первой нашей встречи. Мы видались в Москве—то у издателя И. Д. Сытина, то в Докторском клубе, то у него в доме, где он любил угощать горячей картошкой „в мундире", т. е. со шкуркой, и старым крымским „губонинским" кляретом. Бывал Антон Павлович и у меня, на нашей литературной „Среде", которой всегда интересовался и всегда расспрашивал о ней. Видались мы и в Крыму, у него на даче в Аутке, где он бы уже серьезно больным и где среди красоты южной природы мечтал о московском сентябрском дождичке, о березах и елках, об илистом пруде с карасями, о том, как хорошо обдумывать повести свои и пьесы, глядя на поплавок, и держа в руке удочку... Помню, как в этом ялтинском кабинете мне был вручен именной рецепт в ялтинскую аптеку на порошки от кашля за подписью „доктора А. Чехова". Аптечная сигнатурка у меня сохраняется.

Несмотря на болезнь, Чехов любил всякие шутки, пустячки, приятельские прозвища, и вообще охотник был посмеяться. Помню, как хохотал он у себя в ялтинском кабинете над одним из своих же давнишних рассказов. И. А. Бунин как-то спросил его:—А помните вы, Антон Павлович, рассказ Чехонтэ (такой-то)? Наверно, забыли. Давайте, я прочитаю вам вслух.

Бунин, надо сказать, мастерски читает чеховские рассказы. И он начал читать.

Трогательно было видеть, как Антон Павлович, сначала хмурился (неловко ему казалось слушать свое же сочинение), потом стал улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально трясся от хохота в своем мягком кресле, но молча, стараясь сдержаться.

— Вам хорошо, теперешним писателям,—нередко говорил он, полушутя, полусерьезно:—Вас теперь хвалят за небольшие рассказики. А меня, бывало, ругали за это. Да как ругали! Бывало, коли хочешь быть писателем, так пиши роман, а иначе о тебе и говорить и слушать не станут, и в хороший журнал не пустят. Это я всем вам стену лбом прошибал для маленьких рассказов.

III

Говорят, что неотправленные письма нередко бывают интереснее и значительнее отправленных. Если это и не совсем так, или не всегда так, то во всяком случае письмо, подписанное группой известных писателей, хотя бы и неотправленное по адресу вследствие особых причин, может представлять собой документ нелишенный интереса. Одно из таких неотправленных писем, содержание которого связано с дорогой памятью А. П. Чехова, находилось у меня несколько лет, и о нем знали лишь весьма немногие. Письмо относится к тому далекому теперь времени, когда литературные друзья Чехова готовились к его 25-летнему юбилею. Над составлением письма немало потрудились Леонид Андреев и Максим Горький. По мысли инициаторов, под этим текстом предполагалось собрать подписи всей писательской и артистической Москвы, затем передать в Петербург и собрать там таковые же подписи. Бумагу, подписанную виднейшими представителями науки, литературы, художества музыки, театра, а также общественными деятелями, уполномочены были подать издателю „Нивы“ А. Ф. Марксу писатели Гарин-Михайловский и Н. П. Ашешов и добиться от него определенного ответа к моменту юбилейного чествования.

Вот подлинный текст этого письма к Марксу:

„В настоящий момент, когда вся Россия приготовляется праздновать четвертьвековый юбилей А. П. Чехова, с особенной силой выдвигается вопрос, которым в последнее время болезненно

интересуется русское общество и товарищи Антона Павловича. Дело заключается в поразительном и недопустимом несоответствии между деятельностью и заслугами Антона Павловича перед родной страною, с одной стороны, и необеспеченностью его материального положения—с другой.

25 лет работает А. П. Чехов, 25 лет неустанно будит он совесть и мысль читателя своими прекрасными произведениями, облитыми живою кровью его любящего сердца, и он должен пользоваться всем, что дается в удел честным работникам—должен, иначе всем нам будет стыдно. Создав ряд крупных ценностей, которые на Западе дали бы творцу их богатство и полную независимость, Антон Павлович не только не богат—об этом не смеет думать русский писатель—он просто не имеет того среднего достатка, при котором много поработавший и утомленный человек может спокойно отдохнуть без думы о завтрашнем дне. Иными словами, он должен жить тем, что зарабатывает сейчас—печальная и незаслуженная участь для человека, на которого обращены восторженные взоры всей мыслящей России, за которым, как грозный укор, стоит 25 лет исключительных трудов, ставящих его в первые ряды мировой литературы. Совсем недавно, на наших глазах, маленькая страна, Польша, сумела проявить дух великой человечности, щедро одарив Генриха Сенкевича в его юбилейный год,—неужели в огромной России Антон Павлович будет предоставлен капризу судьбы, лишившей его законнейших его прав?..

Нам известен ваш договор с А. П. Чеховым, по которому все произведения его поступают в полную вашу собственность за 75.000 рублей, при чем и будущие его произведения не свободны: по мере появления своего, они поступают в вашу собственность за небольшую плату, не превышающую обычного его гонорара в журналах—с тою только огромной разницей, что в журнале они печатаются раз, а к вам поступают навсегда. Мы знаем, что за год, протекший с момента договора, вы в несколько раз успели покрыть сумму, уплаченную вами А. П. Чехову за его произведения: помимо отдельных изданий, рассказы Чехова, как приложение к журналу „Нива", должны были разойтись в сотнях тысячах экземпляров и с избытком вознаградить вас за все понесенные издержки. Далее, принимая в расчет, что в течение многих десятков лет вам предстоит пользоваться доходами с сочинений Чехова, мы приходим к несомненному и печальному

выводу, что А. П. Чехов получил крайне ничтожную часть действительно заработанного им. Бесспорно нарушая имущественные права вашего контрагента, указанный договор имеет и другую отрицательную сторону, не менее важную для общей характеристики печального положения Антона Павловича: обязанность отдавать все свои новые вещи вам, хотя бы другие издательства предлагали неизмеримо большую плату, должно тяжелым чувством зависимости ложиться на А. П. Чехова и несомненно отражаться на продуктивности его творчества. По одному из пунктов договора Чехов платит неустойку в 5000 руб. за каждый печатный лист, отданный им другому издательству. Таким образом, он лишен возможности давать свои произведения даже дешевым народным издательствам. И среди копеечных книжек, идущих в народ и на обложке своей несущих имена почти всех современных писателей, нет книжки с одним только дорогим именем — именем А. П. Чехова.

И мы просим вас, в этот юбилейный год, исправить невольную, как мы уверены, несправедливость, до сих пор тяготеющую над А. П. Чеховым. Допуская, что в момент заключения договора вы, как и Антон Павлович, могли не предвидеть всех последствий сделки, мы обращаемся к вашему чувству справедливости и верим, что формальные основания не могут в данном случае иметь решающего значения. Случаи расторжения договоров при аналогичных обстоятельствах уже бывали—достаточно вспомнить Золя и его издателя Фескеля. Заключив договор с Золя в то время, когда последний не вполне еще определился, как крупный писатель, могущий рассчитывать на огромную аудиторию, Фескель сам расторг этот договор и заключил новый, когда Золя занял во французской литературе подобающее ему место. И новый договор дал покойному писателю свободу и обеспеченность.

Для фактического разрешения вопроса мы просим принять наших уполномоченных: Н. Г. Гарина-Михайловского и Н. П. Ашешова.

Федор Шаляпин, Леонид Андреев, Ю. Бунин, И. Белоусов, А. Серафимович, Е. Гославский, Сергей Глагель, П. Кожевников, В. Вересаев, А. Архипов, Н. Телешов, Иван Бунин, Виктор Гольцев, С. Найденов, Евгений Чириков".

Были все основания считать, что успех переговоров обеспечен и освобождение Чехова казалось уже почти фактом.

Не вспомню теперь, как именно произошло все это: показали ли Чехову копию письма, или вообще передали ему о предполагаемом обращении к Марксу по поводу его освобождения, но только вскоре выяснилось, что дальнейшие подписи собирать не надо, потому что Антон Павлович, узнав про письмо, просил не обращаться с ним к Марксу. Не ручаюсь за достоверность, но вспоминается мне, что говорилось тогда о таких приблизительно словах Антона Павловича при отказе:

— Я своей рукой подписывал договор с Марксом и отрекаться мне от него неудобно. Если я продешевил, то значит, я и виноват во всем: я наделал глупостей. А за чужие глупости Маркс не ответчик. В другой раз буду осторожнее.

Тем дело и кончилось. Подлинное письмо с писательскими автографами задержалось и осталось у меня вместе со списком — к кому итти за подписями. Среди этих намеченных лиц значились: В. О. Ключевский, С. А. Муромцев, Ф. Н. Плевако, В. И. Сафонов, А. П. Ленский и многие из тех, кого теперь уже нет на свете. Да и из числа подписавших бумагу выбыла из живых целая треть.

Подлинник этого письма я передал в свое время в Чеховскую комнату при Румянцевском музее, где он и находится.

IV

Последняя наша встреча была в Москве накануне от'езда Чехова за границу. Случилось так, что я зашел к нему днем, когда как раз в квартире не было никого кроме прислуги. Перед от'ездом было много всяких забот, и все близкие люди хлопотали без устали.

Я уже знал, что Чехов очень болен; вернее, очень плох. И решил занести ему только записку, чтоб не тревожить его. Но он велел догнать меня и воротил с лестницы.

Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидал, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький человек, с узкими плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ и изнурен Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.

Жутко мне стало... А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже неулыбающимися глазами и говорит:

— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.

Он сказал более жесткое слово, которое резнуло меня и которое не хочется сейчас повторить.

— Умирать еду. Все кончено... Поклонитесь от меня всем товарищам вашим по Среде... Хороший народ у вас подобрался... Скажите им, что я их помню, и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успеха. Больше уже не встретимся.

Тяжело было глядеть в его глаза, в которых отражалась тихая сознательная покорность.

— А Бунину передайте, чтобы писал и писал... Из него большой писатель выйдет... Так и скажите ему это от меня.

Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось. Было это так ясно. И потому было действительно жутко. Я боялся заговорить в эти минуты полным голосом, боялся зашуметь сапогами. Нужна была какая-то нежная тишина, нужно было с открытой душой принять те немногие слова, которые были, несомненно, для меня последними, и исходили от чистого и прекрасного—чеховского сердца.

ПЕРВЫЕ ЗНАКОМСТВА

Стоят: Белоусов И. А. и Семенов С. Т.
Сидят: Телешов Н. Д., Дрожжин С. Д., Шмелев И. С. и Голубев Д. Я.

ПЕРВЫЕ ЗНАКОМСТВА

I

В начале девяностых годов в Москве, на Тверской улице, во дворе громадного владения Гиршмана, на верху четырехэтажного корпуса помещалась редакция журналов „Детское Чтение“ и „Педагогический Листок“. Здесь, в просторной комнате, за письменным столом сидел обычно в дневные часы невысокого роста угрюмый старик, одетый в суконную блузу из кавказской овечьей шерсти и подпоясанный широким ремнем, как у монахов. Полуседые курчавые волосы, мохнатая с проседью борода и напускная строгость делали добрейшего по душе человека почти свирепым, чего на самом деле совершенно не было, и очень деловым — чего, говоря по совести, на деле тоже, кажется, не было. Но работник он был честный, усердный и необыкновенно преданный интересам редакции, в которой работал и которую считал своим домом. При встречах он имел обыкновение целоваться. Но и целуясь, он бывал суров и угрюм, не раздвигал сомкнутых бровей и не выпускал из рук дымящуюся, толстую как палец, папиросу.

— Мы вас любим, молодой друг,—говорил он обыкновенно, усаживая меня возле своего стола.—А вы что же к нам по субботам редко приходите на дружеские беседы? И для „Детского Чтения“ пишете мало. Надо больше писать. Для молодого поколения, для будущих граждан надо много работать... А вы—что?

Сделает выговор, упрекнет, поворчит и полезет в ящик за деньгами. Деньги приходилось получать, обыкновенно, маленькие, рублей 40—50.

— Сосчитайте; не берите не-глядя. Деньги счет любят. Да уберите куда понадежней, а то потеряете, будете потом горевать. Распишитесь, что получили.

Опять поцелуется на прощанье и опять поворчит:

— Мы вас любим. А вы—что?

И опять садится с дымящейся папиросой в пальцах и углубляется в чтение корректуры.

Это был Николай Александрович Соловьев-Несмелов, автор многих народных и детских рассказов, а также единственно-полной биографии поэта Сурикова, его личного друга,—добрейший и честнейший человек, скромный и бескорыстный. Днем, во время служебных занятий, он был одним человеком, деловитым, как я уже сказал, почти до сухости, а по субботним вечерам, когда мы все чаще и чаще стали встречаться, человеком совершенно иным—мечтательным добряком, любившим время от времени пошутить и посмеяться. Но странно, что веселость его была какая-то тоже мечтательная, обвеянная как будто грустью. Он любил называть себя „скитальцем родной земли", верил в народ и в людей вообще, в молодежь в особенности, почитая ее, как „благородную душой". И если приходилось иногда в ком-нибудь разочаровываться, то он говорил:

— Ну, это его кто-нибудь сбил. Сам он не мог так думать.

Для молодых писателей Николай Александрович был истинным другом.

— В гору! в гору, молодой человек!—говаривал он по вечерам на субботниках.—Кто не идет в гору, тот пропадает. Работайте, пробивайтесь! Но идите только в гору, а не под гору. Жизнь сильна девятым валом. В затишьи не жизнь—прозябание.

— Высокое творческое слово—русское, юное, яркое—пусть ведет вас, молодой друг, на те высоты, откуда открываются широкие горизонты глубокого духа, реальной жизненной правды, истинной красоты и неложного добра...

Такие слова были нередки во время беседы, и для Соловьева-Несмелова они были очень характерны. Они обнаруживали его действительные взгляды. Эти самые слова написаны им на его портрете. Он всегда говорил и настаивал вот на чем:

— Всякое насилие ничего не создает, и благая цель с насилием не даст блага. Насилие может только удалить от этого блага. Личность должна быть самостоятельна, счастье у нее должно быть „ее счастье". Но эта личность своим счастием не должна подавлять ни близких, ни далеких ей личностей и, оставаясь самостоятельной, должна сливаться в движении жизни в

один широкий чистый поток, текущий плавно в общем русле—человечестве.

По субботним вечерам редакционная комната, где занимался днем Соловьев-Несмелов, обращалась в столовую, где часам к 11 накрывался длиннейший стол с тарелками нарезанной колбасы, сыру, грибов и разной еды, рыбы, говядины. Народу собиралось всегда много; бывали артисты, художники, педагоги, но преимущественно писатели и журналисты как москвичи, так и приезжие, в преобладающей окраске „Русских Ведомостей“ и „Русской Мысли“ того времени.

Представители этих редакций—В. А. Гольцев и В. М. Лавров от „Русской Мысли“ и А. П. Лукин (псевдоним „Скромный Наблюдатель“) от „Русских Ведомостей“ бывали у Тихомировых очень часто, а Гольцев без пропусков каждую субботу; он был здесь ближайшим другом и совершенно своим человеком. Бывали профессора Московского Университета, народные учительницы и учителя, театральные критики и разного рода общественные деятели, в большинстве случаев с известными и даже громкими именами. Из писателей нередко можно было встретить здесь Н. Н. Златовратского, К. М. Станюковича, драматурга П. М. Невежина, М. Н. Альбова, К. С. Баранцевича, В. М. Михеева, Вагнера, критика Скабичевского, Вас. И. Немировича-Данченко (старшего), с лихими черными баками и всегда с „георгием“ на груди. Здесь же обычно останавливались и гостили, когда приезжали из Петербурга, Д. Н. Мамин-Сибиряк и В. П. Острогорский, редактор ежемесячного журнала „Мир божий“, о котором в застольных беседах он иначе не говорил, как называя его: „мой мир“, а про секретаря редакции, Богдановича, носившего редкое имя—Ангел Иванович—говорил так:

— Это я поручу нашему Ангелу, он уже сделает что нужно.

И над ним, по почину Гольцева, стали даже шутить:

— Кто же он „сам“ после этого, сей муж седовласый, если про мир божий он говорит: „мой мир“, а с поручениями рассылает „ангелов“?

Эта дружеская незлобивая шутка доставляла старику видимое удовольствие, так как редактором он был только официальным, для цензуры и администрации, и влияния на жизнь и судьбы журнала не имел; в этом отношении его „Ангел“ был значительнее и выше его самого.

У старика было какое-то излюбленное стихотворение, очень странное, сочиненное, если не ошибаюсь, им самим, которое он любил читать вслух, когда бывал в духе, или даже напевать его тихонько на ухо своему случайному соседу за ужином. Начиналось оно очень торжественно:

„В жизни важно только важное,
С ним и след вперед итти"...

„А когда дела неважные человека обойдут, то и самые отважные человека не спасут"... Что было дальше, я не вспоминаю, но заканчивалось оно так:

„Очень жалко окаянного,
Что погиб во цвете лет"...

II

Сами Тихомировы, устроители субботников, Елена Николаевна и Дмитрий Иванович, очень известный и популярный педагог своего времени, руководитель курсов, составитель знаменитого „Букваря" и многих книг и хрестоматий, были люди немолодые и одинокие, очень приветливые и доброжелательные; по крайней мере, лично я от них кроме добра ничего не встречал и считаю, что они для моей писательской жизни сделали очень немало, введя меня, в то время чужака в литературе, в свое редакционное гнездо, где я перевидал большинство известностей того времени, переслушал множество серьезных речей и споров, а так же шуток, веселых острот и талантливых каламбуров.

Рослый, здоровый старик, седой как лунь, с густыми, крепкими и „по-мужицки" длинными волосами, с окладистой белой бородой и несколько румяным лицом, Дмитрий Иванович Тихомиров одевался у себя на субботах либо в черный сюртук, либо, как и Соловьев-Несмелов, в суконную блузу с ремнем, также как и тот, при встречах со многими приветливо целовался, но был строже, важнее и влиятельнее своего тихого друга.

Первая часть вечера проходила иногда интересно и оживленно, а иногда вяло. Гости разбивались на группы и обособленно разговаривали; в отдаленных комнатах за одним-двумя столами играли в винт; иногда кто-нибудь читал небольшую вещь,

рассказ или стихи, а то кто-нибудь пел, или играл на рояле или на скрипке. Из певцов, я вспоминаю, выступали артисты Большого театра: Ст. Гр. Власов, модный в то время бас, и тенор Успенский; из музыкантов—пианист Левин, талантливый юноша, кончавший тогда Консерваторию. Чтецов было много, но в памяти остался только один—профессор Эварницкий Д. И., любивший, чтоб его называли не Дмитрием Ивановичем, а—Ди-митрием Иоанновичем,—правоверный украинец, с его веселыми запорожскими рассказами, которые я слушал, бывало, всегда с удовольствием. Невольно запомнился мне и образ казака, встречавшийся чуть не во всех его рассказах почему-то в одном и том же излюбленном виде, а именно:

— „В одний сорочци, и без штанув".

Вспоминаю, как на одном из вечеров пел незнакомый молодой человек, очаровавший всех прелестным тенором; голос его был исключительной красоты. Все заинтересовались: кто это? что за артист? из какого театра? Но оказалось, что он не на сцене, что это молодой адвокат, помощник какого-то присяжного поверенного, и что фамилия его—Собинов. Через год он пел уже в Большом театре и быстро делался знаменитостью.

В большинстве случаев, первая часть вечера проходила кое-как, и настоящий субботник открывался лишь, когда из всех комнат стекался народ в столовую и усаживался за ужин; к этому времени под'езжали гости из театров, концертов и заседаний, и за длиннейшим столом мало по малу становилось тесно. Вот тут-то и начиналось самое настоящее. Сообщались всякие новости, загорались споры, произносились речи. Если кто из присутствующих имел где-нибудь успех за минувшую неделю, это отмечалось и дружески подчеркивалось. Если кого-нибудь обидели в цензуре, или в администрации, об этом сообщалось вслух и тут же порицалось, или жестоко вышучивалось. Общественная жизнь, административные сюрпризы, вопросы литературы—все имело здесь свои отклики, и так как в беседах участвовали представители лучших в то время журналов и газет, то все это было интересно и нередко значительно и ценно. Самый серьезный отзыв сменялся иногда вдруг остроумным экспромтом, или забавным рассказом, на что были мастера—в первом случае В. А. Гиляровский, а во-втором В. Е. Ермилов, прирожденный комик и юморист, хотя он был педагог и даже писал и издавал серьезные статьи и книжки.

Перу Ермилова принадлежат многочисленные педагогические, критические и театральные статьи, рассеянные по разным изданиям; были у него и отдельные книжки, например, „В борьбе с рутиной“, сказка для детей „Хрюшка-свинка, золотая щетинка“, очень нравившаяся в свое время. Издавал Ермилов и недельный журнал, стараясь придать ему народнический оттенок. Назывался этот журнал „Народное Благо“, но в писательской среде, по определению Гольцева, был под названием „Ермишина Блажь“.

Ужин, или вернее сказать—общая беседа затягивалась обычно часов до трех ночи. Здесь бывало всего по-немногу: и несколько застольных речей, нередко с возражениями, и множество новостей с обменом мнениями, а также почти всегда рассказы, шутки, стихи, экспромты. Ермилов Владимир Евграфович умел рассказывать веселые сценки на злобу дня, иногда действительно очень злые и остроумные. Между прочим, помню, как однажды он вызвался спеть „Камаринского“, известную плясовую русскую песню. Зазвучал рояль, послышался знакомый для всех разудалый мотив. Невозможно было ожидать того впечатления, которое Ермилов произведет этой плясовой песней на все собрание, и в частности на меня. Он придал ей такой драматический оттенок, так ловко замедлял, когда нужно, темп и с таким чувством передавал о похождениях и о судьбе этого несчастного всероссийского человека и о его семье, что становилось жутко слышать о том, „как на улице Варваринской спит Касьян мужик Камаринский“...

Этот Камаринский был, вероятно, лучшим номером из всех исполнений Ермилова, самым значительным и действительно интересным и трогательным. Ермилов сумел придавать ему—как это ни странно—общественное начало.

У Тихомировых была в Крыму своя дача в Алуште, под именем „Красная Горка“, и маленький виноградник, благодаря которому на субботних ужинах в легком белом вине недостатка не бывало. Но иных напитков зато не полагалось. Единственному человеку делалось исключение, это Мамину-Сибиряку, который признавал только пиво, и выпивал его немало, хотя и говорил в шутку, что „из-за него, окаянного, я всю свою прежнюю красоту потерял“.

Всегда спокойный и в меру шутливый, с красивыми черными глазами, с непослушною прической седеющих волос и с неразлучной трубочкой в руках или зубах, Дмитрий Наркисович

Мамин производил впечатление беспечального россиянина, недурно прожившего две трети жизни и очень спокойного за оставшуюся треть. В этот период как раз печатались в „Детском Чтении“ его рассказы, полные сердечности и тихого легкого юмора, составившие потом прекрасную книгу для детей под общим названием „Аленушкины сказки“.

Много раз встречал я Мамина на этих субботниках, и никогда не замечал, чтобы он был не в духе; напротив,— всегда приветливый и сдержанно-веселый, он любил рассказывать о всяких людях, о встречах с ними, о разных пустяках, и рассказы его бывали всегда очень забавны и остроумны.

Он был уже автором многих романов, преимущественно из уральской приисковой жизни, печатавшихся в лучших журналах. Произведения его в публике читались с большой охотой: одни интересовались интригой и разнообразием действия, другие— характерными типами, иные — природой, бытом и этнографией. Непонятно, почему—о других, менее заслуживающих внимание— писали, кричали, возводили их на недолговременные пьедесталы, а Мамин оставался как бы в тени. Эта несправедливость чувствовалась им, но он не показывал даже вида, что ему иногда больно. Наконец, уже через много лет опомнились и поднесли ему торжественно звание „Почетного академика“. Но когда хотели об'явить ему об этом признании, он оказался уже без памяти, и через несколько дней умер; так и не дождался давно заслуженного.

Во время ужина Мамин не садился, обыкновенно, в почетные углы, возле хозяина, а предпочитал середину стола, хотя его всегда пытались посадить на видное место. Зато перед ним, в виде исключения, ставилось пиво, и из этой бутылки уже никому не полагалось ни глотка,—таково было правило, и все ему подчинялись. Один только Н. Н. Златовратский иногда громко говорил, не без некоторой надежды, случайному своему соседу или визави:

— Хорошо бы теперь пивцом освежиться!..

Но из таких заявлений все равно ничего не выходило. Правило соблюдалось твердо.

Тихомировы охотно поддерживали знакомство и с молодыми литераторами, из которых многие сотрудничали тогда в „Детском Чтении“. Среди них были Н. И. Тимковский, Т. Л. Щепкина-Куперник, С. Т. Семенов, В. Н. Ладыженский, А. А. Федоров-

Давыдов, И. А. Белоусов и братья Бунины, с которыми я только что познакомился. Старший Бунин, Юлий Алексеевич, был в это время заведующим редакцией „Вестника Воспитания" и правою рукою его издателя, доктора Н. Ф. Михайлова, человека высоко культурного и хорошего. Начавшееся между мною и Юлием Буниным знакомство привело нас обоих к теснейшей дружбе в течение 25 лет – вплоть до его смерти, в июле 1921 года. Младший Бунин, Иван Алексеевич, хотя и помещал свои стихи и рассказы в журналах, но известен в то время был еще очень мало. Для первого знакомства он подарил мне только что вышедшую книжку Лонгфелло „Песнь о Гайавате" в его переводе, напечатанную очень серо и плохо в каком-то захудалом провинциальном издательстве, да и самые стихи не были еще так отделаны, как впоследствие, когда Гайавата вышел в издании „Знание" с отличными рисунками, и этот перевод, отделанный уже опытной рукой настоящего мастера, справедливо считается лучшим из существующих.

Из тех, кого я встретил в Тихомировском кружке, оказалось только двое моих прежних знакомых: Белоусов и Гиляровский; остальные были люди для меня новые; однако я совсем не почувствовал себя среди них чужим; я сразу попал точно в давно знакомую семью, дружески настроенную,—так со стороны Тихомировых было встречено мое первое появление у них, да и Соловьев-Несмелов весь вечер подводил меня то к одному, то к другому, знакомя, называя меня по имени и добавляя в виде рекомендации свое обычное определение:

— Наш друг молодой.

III

С Вл. А. Гиляровским я познакомился значительно раньше, за несколько лет до этого, на свадьбе у Белоусова. В то время это был крепыш и силач, весельчак, остряк и затейник, с поступками оригинальными и весьма неожиданными. Еще молодым человеком он ушел в народ—по тогдашним увлечениям, нанялся простым рабочим на волжском заводе, потом в кавказской армии воевал с турками и получил за храбрость „Георгия", потом оказался актером где-то на провинциальной сцене. И газетный репортер, и поэт, и автор хлестких фельетонов из общественной жизни—Владимир Алексеевич, или как его обычно

звали многочисленные приятели—Дядя Гиляй (один из его литературных псевдонимов), был человеком таких разнообразных качеств, что не зря про него говорилось, будто он „и швец, и жнец, и в дуду игрец"... Ни перед какими превратностями судьбы Гиляй не опускал голову. Его рассказы из жизни рабочих, собранные в книжку, зарезала тогдашняя цензура и предала сожжению напечатанные экземпляры. Он рассердился на то, что писателю не дают заниматься своим прямым делом, и в ответ открыл контору об'явлений и разразился по тем временам необычайной рекламой; он напечатал, величиною в серебряный рубль, круглые яркие значки с клеем на обороте и лепил их повсюду, где можно и где нельзя—и на стекла знакомых магазинов, на стенные календари в конторах и банках, на пролетки извозчиков и даже в Кремле, на царь-пушке и на царь-колоколе сверкали эти „об'явления" о конторе об'явлений Гиляровского. Потом он основал Русское гимнастическое общество, где был председателем, и сам же прыгал через „кобылку", дрался на эскадронах, поднимал над головою на железной кочерге двоих приятелей, повисших по сторонам этой кочерги, и вообще показывал чудеса ловкости и силы. Потом, неведомо почему, вдруг исчез и оказался на Балканах, в Сербии, где в своих корреспонденциях вывел тогдашнего короля Милана „на свежую воду", раскрывши всю его интригу и доказав, что знаменитое покушение на Милана было подстроено самим же Миланом для личных королевских целей. Это разоблачение подхватили европейские газеты, и Гиляровскому едва удалось унести из Белграда свою голову. Вечно чем-нибудь занятый и торопливый, с полными карманами всяких записок и бумаг, весело похлопывающий в то же время пальцами по серебряной табакерке, предлагая всем окружающим, знакомым и незнакомым, понюхать какого-то необыкновенного табаку в небывалой смеси, Гиляй щедро расточал вправо и влево экспромты по всякому поводу, иногда очень ловко и остроумно укладывая в два или четыре стиха ответ на целые тирады, только что услышанные. Когда только что появилась Толстовская пьеса „Власть тьмы", Гиляй сострил:

„В России две напасти:
Внизу—власть тьмы, а наверху—тьма власти".

Во время торжества реакции при Александре III, когда полицейский произвол был выше законов и когда полицейский

же стражник в Японии ударил шашкой по голове Николая, царского наследника, Гиляровский отозвался на это восклицанием:

„Цесаревич Николай!
Если царствовать придется,
То почаще вспоминай,
Что полиция—дерется".

Одновременно дружил Гиляй и с художниками, собирая картины и рисунки, с писателями и актерами, с пожарными и с беговыми наездниками, с жокеями и клоунами из цирка, с европейскими знаменитостями и с пропойцами Хитрова рынка. У него не было просто знакомых, у него были только приятели; всегда и со всеми он был на „ты". В течение нескольких лет издавал он газету „Листок Спорта", где удачно предсказывал накануне, какие лошади должны завтра взять призы на состязаниях, за что одно время и носил прозвище: „Лошадиный Брюс". В этом листке Спорта мало по малу переучаствовали чуть не все его приятели-беллетристы, и даже я, непричастный ни в какой мере к спорту, напечатал здесь рассказ о петушиных боях, на которые нарочно для этого ходил смотреть в один из грязных замоскворецких трактиров.

Приблизительно в эти же девяностые годы прошла перед моими глазами целая вереница литературных юбилеев. Из них особенно запомнились два: юбилей Г. А. Джаншиева, автора книги „Из эпохи великих реформ", на котором он свою ответную речь начал словами, ставшими потом пословицей:

— „Юбилей—начало некролога".

Здесь, в огромном зале ресторана „Славянский Базар", раздавалось публично много смелых речей и ценных, неслыханных доселе слов. Но прочитать о них на следующий день в газетах возможно было лишь самые незначительные сообщения и в крайне сжатом виде, где, конечно, „выветрилось" все самое существенное и дорогое.

Затем—25-летний юбилей Н. Н. Златовратского—этого прославленного „мужицкого поэта", с искренним увлечением возводившего иногда заурядного деревенского человека чуть не в герои богатырского значения,—одного из самых популярных писателей-народников, бытовика и вместе идеалиста и мечтателя, действительного героя 80-х годов.

Впоследствии, когда мы были с ним уже знакомы и более или менее близки, он, говоря однажды об обязанностях человека, определял так служение народу: ничего не жалеть для его блага—ни жизни, ни счастия:

— Руби сук, на котором сидишь!

IV

Этот юбилей собрал весь цвет тогдашней интеллигенции. Колонный зал Эрмитажа и прилегающие комнаты были переполнены публикой, среди которой было много носителей известных и славных имен из литературного мира, ученых и общественных деятелей, москвичей и приезжих из Петербурга и из провинции. Приветствуя и характеризуя юбиляра и его эпоху, ораторы невольно поджигали один другого, и речи все смелей и свободней раздавались почти до утра, захватывая умы и сердца. И обо всем этом, за невозможностью безнаказанно напечатать отчет, в газетах было скромно сообщено только, что „дружеская беседа собравшихся затянулась далеко за полночь“...

Фраза эта с той поры стала крылатой и вошла в обиход, когда по цензурным условиям нельзя было печатать о том, что говорилось и делалось в каком-либо общественном собрании.

С Златовратским я начал встречаться в Тихомировском кружке при „Детском Чтении“ и в другом редакционном кружке—„Вестника Воспитания“, где Николай Николаевич писал критические статьи о новых журналах и книгах. Одним из первых отзывов в печати о моих народных рассказах из жизни переселенцев был отзыв Златовратского, которым Н. Н. доставил мне, начинающему тогда писателю, конечно, огромную радость. В дальнейшем, значительно позднее, он бывал у меня на наших литературных Средах в течение нескольких лет. Бывал и я у него на субботних вечеринках, в обществе преимущественно писателей из народа и писателей о народе. К таким писателям Н. Н. относился всегда с особым вниманием и интересом. Поручая однажды мне передать Белоусову поздравление, Златовратский прибавляет в письме „сердечный привет и искреннее пожелание успехов в литературной деятельности в том же направлении симпатий и сочувствия к народу, которое было для него в произведениях Белоусова особенно привлекательно“.

Это—обычное его отношение к молодым писателям.

Однажды мне пришлось обратиться к Златовратскому с просьбой, по поручению. В начале 900-х годов наш литературный кружок „Среда" пользовался довольно широкой известностью, благодаря тому, что в него входили почти все крупные писатели из тогдашних молодых, начиная с Андреева, Бунина, Горького, Вересаева, и кончая писателями старших поколений: Чеховым, Маминым, Боборыкиным и Златовратским. Когда Об-во типографов стало собирать средства на устройство Инвалидного дома имени друкаря Ивана Федорова для тружеников печатного дела, пострадавших на работе или больных, старых и слабых, то обратились к „Среде" за составлением сборника в пользу этого дела. В качестве редактора, я в свою очередь обратился к товарищам с просьбой дать рукописи. С такой же просьбой обратился и к нашим старшим. Первый из всех откликнулся на это Златовратский.

— Давно уже не пишу ничего,—сказал он,—но для такого дела написать надо. С людьми печатного станка все мы, пишущие, связаны кровно. И обязаны им немало. А жизнь типографских рабочих трудная, и здоровье их часто пропадает на работе. Говорите срок—напишу обязательно.

Не только первым Николай Николаевич откликнулся, но и первую рукопись я получил именно от него. Как-то, при разговоре о печатниках и о сборнике, Златовратский начал вспоминать далекое свое прошлое, шестидесятые годы и год освобождения крестьян, когда он был еще 15-летним подростком и жил у отца в глухой провинции, в трехоконном домике на пыльной дороге, заросшей наполовину чахлой травой. И вот однажды весной перед этим домиком остановилась тройка, запряженная в громоздкий тарантас, из которого молодые люди — студенты—выпесли что-то большое и тяжелое, закутанное в войлок, и принесли в зальце. Все происходило торжественно и благоговейно. Это привезли из Москвы—печатный станок.

В то время великий под'ем был в народе; даже в глуши захотели печатать брошюры и издавать свою газету. Ждали этого, как великого праздника. Губернатор обещал выхлопотать разрешение. Но пылкие головы поторопились. Разрешения еще не было, а уж типографию приволокли. Говорить о станке кому бы то ни было Н. Н-чу крепко запретили; да он и сам понимал, что это нельзя.

„Вольный станок“ был великою семейною тайной, к которой все относились с трепетным уважением.

И вот однажды—рассказывает Н. Н.—к ним приехал из столицы сам „Бов—из Современника“. На него юноша-Златовратский мог глядеть только в дверную скважину, когда тот говорил о делах с старшими.

Знаменитый „Бов“—это имя в семье было обаятельным.

В дверную щель Н. Н. увидел, наконец, этого „Бова из Современника“—его молодое, серьезное, энергичное лицо и мягкие, глядевшие из-за очков глаза. Но вскоре „Бов“ поднялся, протянул руку отцу и уехал—навсегда. Навсегда—потому, что вскоре пришла весть о смерти „Бова“. По словам Златовратского,—эта молодая, необычайно даровитая сила, едва только успевшая размахнуть свои духовные крылья, была уже отмечена неумолимой судьбой...

Этот лучезарный гость, этот великий „Бов из Современника“ был Николай Александрович Добролюбов, портрет которого всегда висел в кабинете Златовратского, до самой смерти.

На этом „вольном станке“, пока он находился в зальце захолустного домика, юноша Златовратский сам отпечатал свои первые стихи, забракованные отцом, но забракованные с оговоркой:

— Не смущайся... С кем вначале промахов не бывает...

Потом—„подуло реакцией“; газету, конечно, не разрешили, и даже самому губернатору, хлопотавшему за газету, министр велел передать, что тот—„не в своем уме“...

Вот эту историю из своей юности, о встрече с Добролюбовым, о вольном станке, о деревенской типографии и рассказал Н. Н. в пользу рабочих печатного дела. И сборник „Друкарь“ был вскоре напечатан.

В заключение мне хочется напомнить слова самого Златовратского, сказанные им о себе на его 40-летним юбилее. Он точно, верно и ясно определил свою литературную деятельность, сказав, что он „принадлежит к той школе писателей, для которой писательство было—религией, и что он счастлив, что отдал этому делу всю свою жизнь и все силы“.

V

В Тихомировском кружке я продолжал бывать довольно часто, и Тихомировы время от времени тоже приезжали ко мне вместе с Соловьевым-Несмеловым, который иногда читал у нас свои

новые рассказы. Помимо этого, мало по малу у меня стал образовываться сам собою небольшой новый кружок—более или менее молодых товарищей. Почти все мы бывали по субботам у Тихомировых, где приходилось больше слушать других, а на своих собраниях мы принадлежали сами себе. Говорили и спорили о новой литературе, о новых писателях, об искусстве. Я жил в то время на Валовой улице, в доме типично старозаветном, с антресолями, с темными закоулками, скрипучими лестницами и низкими потолками. В мои две комнаты, на самой макушке дома, вела именно такая скрипучая внутренняя лестница прямо из сеней с черного хода. Вытянувшись во весь рост и подняв руку, я свободно доставал пальцами потолок, поэтому, когда собиралось несколько человек курящих, через час все сидели в дыму и разговаривали точно сквозь сетку, так что приходилось несколько раз в вечер отворять широкие форточки, через которые уходило не столько дыма, сколько тепла.

Определенных дней у нас установлено не было, а собирались мы когда случится. Сначала это была небольшая группа, в несколько человек. Из самых давнишних моих друзей, работающих и сейчас в литературе, были: С. Д. Разумовский, писавший в то время книгу о Гамлете и готовившийся к драматургии, и Ив. А. Белоусов, переводивший Шевченко и печатавший по небольшим журналам свои простые, ласковые стихи о труде и природе.

Затем примкнули к нам В. М. Михеев, братья Бунины, Н. И. Тимковский и С. С. Голоушев, известный в качестве художника—как „С. Сергеевич“, и в качестве литератора как „Сергей Глаголь“, большой любитель и знаток искусства и увлекательный оратор.

Голоушев умер в июле 1920 г. в возрасте, позволяющем назвать его стариком: ему было 65 лет. Но все, кто знавал его, все его многочисленные товарищи по искусству, по общественности, по медицине (он был врач, по специальности гинеколог) и еще более многочисленные ученики и ученицы по художеству и по театру, могут подтвердить, что в этом 65-летнем муже горела молодая душа, и не только молодая, но—юная. Зрелый и хороший ум его охватывал и анализировал явления, а горячее сердце, склонное к увлечениям, дополняло это понимание любовью к явлениям, самой искренней, молодой и настоящей любовью, оттого и все его работы, многочисленные

театральные статьи, художественные оценки, монографии художников и его студийные лекции по искусству—все это полно увлечения, заражающего читателя и еще более слушателя. Особенно увлекателен он был как оратор, и менее всего заметен, пожалуй, как беллетрист.

Вспоминается случай, как однажды С. С. Голоушев прочитал нам только что написанный им рассказ на тему о любви; не помню его названия. У нас было принято отзываться всегда без стеснений, т.-е. говорить правду. Рассказ не показался интересным, и автору это высказано было откровенно. Он на секунду задумался.

— Я имел в виду случай как будто интересный и не шаблонный. Например, вот эта сцена. Или вот эта.

И он начал снова рассказывать. Обычное увлечение овладело им. И тот же самый рассказ загорелся и засверкал. Сжато, сильно, красиво и содержательно лилась его речь. И когда он кончил, нельзя было не сказать ему:—Почему же ты написал не так, как сейчас говоришь? Он и сам это чувствовал, и даже сознался:

— Вижу, что тот рассказ никуда не годится. Мне надо, должно быть, не писать рассказы, а рассказывать о них своими словами.

Обычно, Голоушев сообщал нам много интересного про художников, про их новинки и выставки, про новые течения, а Михеев рассказывал нередко о новых пьесах Ибсена, начавшего в то время сильно интересовать и волновать общество, и о других иностранных писателях, чьи произведения еще не были переведены по русски, и мы знакомились с ними ранее многих других по пересказам и отрывкам. Юлий Бунин обычно осведомлял нас о революционном движении в прошлом и настоящем, рассказывал о крупных деятелях революции, с которыми он был лично знаком, и вообще держал нас в курсе. Эта небольшая товарищеская группа и явилась основой того кружка, которому суждено было впоследствии сыграть заметную роль под названием Московской Литературной Среды и об'единить большинство самых видных и крупных писателей девяностых и девятисотых годов.

С течением времени и с развитием „Среды“, куда отхлынула значительная часть литературной молодежи, и с возникновением в Москве Литературно-Художественного Кружка, об'единившего

в своих стенах людей разнообразных направлений, а также и за смертью Соловьева-Несмелова, Тихомировские субботники мало по малу утратили свое былое значение и затихли. Но то, что они в свое время давали, не позабудется свидетелями их жизни и с добрым чувством будет вспомянуто теми, уже немногими, кто остается пока в живых.

Стоят: Андреев Л. Н., и Чириков Е. Н.
Сидят: М. Горький, Бунин И. А., Шаляпин Ф. И., Скиталец С. Г. и Телешов Н. Д.

КРУЖОК „СРЕДА“

КРУЖОК „СРЕДА“

I

На моей памяти, около 80-х годов, Москва не отличалась обилием общественных организаций. Отдельные писательские кружки существовали почти только при редакциях, за немногими исключениями, и были крайне малочисленны. Писателей в Москве тоже в то время жило сравнительно очень немного; все они устремлялись к центру — в Петербург, в „писательскую Мекку“, как шутили иногда сами же писатели. Но как ни была придавлена общественность, жизнь делала свое дело. Дух не угасал. Как ни старались раз'единить людей, но люди все-таки встречались, стремились друг к другу, и общение не умирало. Это общение, этот пульс культурной жизни поддерживались несколькими очагами, и в их числе Малым театром, в котором многие люди того времени и в частности лично я находили первые источники вдохновения, красоты, под'ема духа, смысла жизни и, просто-на-просто, культурного воспитания и сознательности.

Признавая, что искусство возникает из потребности стремления человека к совершенству, нельзя не сказать, что сцена Малого театра с ее классическим репертуаром, с ее романтизмом и реализмом и с такими исключительными талантами, как М. Н. Ермолова, являла высокие примеры для жаждующих правды и подвига и оказывала неотразимое влияние на окружающую жизнь.

Большое общественное дело творили также и художники-передвижники. Их выставки являлись не только праздником, но прямо-таки событием в жизни Москвы.

Почти не бывало такой выставки, где бы зритель оставался холоден и спокоен; его всегда умели чем-нибудь взволновать и

увлечь. И волновали изумлением и восторгом, а иногда и, буквально, потрясали сердца. Невозможно, конечно, перечислять то замечательное, что появлялось на этих выставках и что во многих случаях переходило потом в Третьяковскую галлерею, которая сама в это время росла и приобретала европейское значение. Такие произведения, как „Грешница" Поленова, или Сурикова „Боярыня Морозова", или Репина „Иван Грозный", или полотна Васнецова, являлись выдающимися событиями на выставках и порождали вокруг себя целую литературу; все газеты долгое время были переполнены похвалами, спорами и доказательствами за или против.

Неотъемлемую и типичную принадлежность Москвы того времени составляла еще и газета, издававшаяся много лет—с 1863 года—и служившая как бы флагом значительной части московского общества. Это—„Русские Ведомости". Близость к „Русским Ведомостям", хотя бы только читательская, была своего рода паспортом—как тогда говорили. В „Русских Ведомостях", несмотря ни на какие строгости и ухищрения цензуры, всегда с героической стойкостью заявлялось, что они не считают для себя обязательным восхищаться и преклоняться перед всем русским только потому, что это—русское; что всякий русский человек не только может, но и должен быть вместе с тем членом общечеловеческой культурной семьи, которому не чуждо ничто человеческое, и который способен руководиться всем разумным и полезным, что дала и дает европейская цивилизация. Что они признают важное значение за общественным самоуправлением, стоят за строгий контроль, за широкое народное образование, за устранение племенной розни, за всякое честное стремление к правде и свету, за свободу личности, свободу совести, свободу печати и собраний.

Все это вместе взятое—и Малый театр, и передвижники, и „Русские Ведомости", создавало атмосферу, в которой жила духовною жизнью, воспитывалась и закоренялась, ныне уже старая, московская молодежь 80—90-х годов.

Разъединить людей не удавалось. То Общество Любителей Российской Словесности с его почтенными профессорами, с маститыми писателями и молодыми, уже известными беллетристами привлекало людей на свои заседания в правленский зал Университета, то Общество Любителей Художеств объединяло свою молодежь на субботних вечеринках на Дмитровке, где среди таких

мастеров, как Поленов, Маковский, Суриков, братья Васнецовы, появлялись Левитан, Серов, Коровин, Головин и др., где, после специальных докладов и прений, просматривали новые художественные журналы чуть не всех русских и иностранных изданий, или играли в шахматы, а иногда слушали концерт, в виде товарищеской услуги, устраиваемый местными и приезжими артистами, нередко знаменитостями,—а в заключение садились за ужин, стоивший „полтинник", с разными закусками, крымским вином и одним горячим блюдом. Непринужденность, простота и безусловная свобода мнений делали эти ужины заразительно веселыми и интересными. На один из таких вечеров С. И. Мамонтов привез высокого беловолосого юношу, Шаляпина, на которого указывал, как на будущую крупную величину. Имя его было мало кому известно, и вряд ли кто рассчитывал, что этот юноша через полчаса произведет на всех такое, исключительное по силе, впечатление, какое он произвел в тот вечер.

Эти заседания, чтения, беседы, группы и встречи то тут, то там—все это было одним явлением, все это была яркая, стремящаяся, талантливая Москва, которую удерживать по одиночкам вряд ли было кому-нибудь под силу. Наконец, в 1898 году открылся Художественный Театр под руководством К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, сразу завладевший общим вниманием. Об общих интересах актеров, художников и литераторов заговорили еще больше и настойчивее. А через несколько месяцев был подписан Устав, и народился в скором времени Московский Литературно-Художественный Кружок, который имел в течение 20 лет большое значение в культурной и общественной жизни Москвы.

II

С течением времени в Кружке собрана была большая и содержательная библиотека с массой автографов. Картины лучших русских художников и живописные портреты украшали многочисленные комнаты. В залах устраивались выставки и концерты, спектакли и дебаты по вопросам искусства. Почти все общественные организации Москвы, у которых не было своего помещения, имели в Кружке приют для заседаний, всегда без отказа и без всякой платы. Здесь же обычно справлялись торжественные юбилеи и давались банкеты заезжим знаменитостям. Таковым почетным гостем Кружка был между прочим Эмиль

Верхарн в 1913 году; с эстрады, в мраморном зале, он читал свои стихотворения.

Незанятых вечеров в Кружке почти не бывало, но особенно наполнялся он по субботам. Иной раз в один и тот же вечер— в одной комнате происходит схватка реалистов с декадентами, в другой рассматривается проект закона о печати, поданный в Государственную Думу, или составляется записка об авторском праве; в концертном зале в это время поют и декламируют, а затем танцуют „до петухов“ с какой-нибудь благотворительной целью, а в столовых суетятся официанты в зеленых мундирах с золочеными пуговицами, подавая—кому кружку пива с белым хохлом пены, кому бутылку шампанского в никкелированном ведреце со льдом, одному—стерлядь, или рябчика, другому—бутерброд с колбасой, или стакан чая. Такие крайности во вкусах и аппетитах, а также в „валюте“ блюд за одним и тем же столом уживались отлично и безобидно.

Близ полуночи, когда в Кружок со всех концов Москвы стекались отыгравшие спектакль артисты и зрители из театров, редакторы и писатели, покончившие дневной труд, секретари газет, идущие через час на ночную работу, выпускать завтрашний номер, и разного рода таланты и их поклонники, в залах Кружка можно было встретить одновременно и черный сюртук и серый пиджак и домашнюю куртку с цветным воротничком рубашки, а рядом щегольской фрак с белоснежной сорочкой и батистовым галстуком, строгую женскую фигуру в темной кофточке, наглухо застегнутой, нередко в очках и с подстриженными волосами. И тут же, в столовой, приехавших с парадного концерта декольтированных дам, с собольими боа, с пышными прическами и розовыми ушами, в которых мелкими голубыми искрами вспыхивают грани серег, с счастливыми улыбками, еще неуспевшими остыть от пережитого только что успеха и грома аплодисментов.

В специальных комнатах идет своя жизнь: играют в карты, в шахматы, на биллиарде; читальный зал всегда наполнен, так как на столах разложены всевозможные столичные газеты и журналы, много провинциальных изданий, а также последние книжные новости. Здесь полная тишина; ходят бесшумно по мягким коврам и не разговаривают... В Кружке был образован, памяти А. П. Чехова, особый комитет с целю выдавать ссуды и пособия нуждающимся артистам, писателям, художникам и

музыкантам; через этот комитет и вообще на дела помощи Кружком было выдано за 15 лет, судя по отчету, 248 тысяч рублей.

Но все это было в расцвет его существования. А в 1899 году первое помещение Кружка было чрезвычайно скромное—на углу Воздвиженки и Кисловского переулка. Оно состояло из большой квадратной залы, из длинной и узкой столовой, переделанной из бывшей оранжереи, и еще из одной комнаты в подвале, где был устроен буфет и стояла огромная, до потолка, дубовая бочка с крупной латинской надписью: „in pivo veritas".

Во главе дирекции стали: А. И. Урусов, А. И. Сумбатов, В. А. Гольцев, Ф. О. Шехтель и другие представители литературы, театров, художества, музыки и общественности. Малый театр пришел, кажется, инкорпорэ, со всеми своими знаменитостями; по крайней мере, привычно было встретить там по субботам М. Н. Ермолову, Г. Н. Федотову, Н. А. Никулину, не говоря уже о мужчинах театра. Большой театр был представлен лучшими своими артистами как оперы, так и балета. Газеты и журналы дали своих редакторов и виднейших сотрудников; актеры и представители частных театров, известные адвокаты, врачи, педагоги, выдающиеся художники, архитекторы, профессора Университета и Консерватории, общественные деятели—все они, по словам лермонтовского стихотворения, „все промелькнули перед нами, все побывали тут".

Такого обилия выдающихся имен и лиц вряд ли когда можно было встретить одновременно, и при том в такой товарищески-семейной обстановке, без чинов и претензий. Публика бросилась в Кружок, чтобы видеть всю эту „знать" и побывать среди них запросто. Но дирекция была строга, посторонних не принимала, и только изредка, каким-нибудь, особым случаем, почти что чудом, забредал сюда на вечер гость, не иначе, как чей-нибудь близкий знакомый. Все чувствовали себя как дома, вполне непринужденно, и потому нередко составлялся то внезапный концерт, то хор из самых лучших солистов, то беседа, то просто товарищеский ужин, где все, сидящие за одним бесконечно длинным столом, об'являлись председателем между собою знакомыми, независимо от того, были они раньше знакомы, или не были. Было необыкновенно просто все и непринужденно. Во время ужина вставали, произносили речи, тосты, шутили, острили, спорили, смеялись. Здесь же за ужином велись и деловые разговоры и устраивались деловые встречи. Был здесь и

карточный столик—один на весь Кружок; стоял он в подвале, возле пивной бочки, и за ним сиживали преферансисты или винтеры, нередко с громкими артистическими именами. Было повсюду необычайно просто, весело и приятно, особенно в первые месяцы. Все перезнакомились между собой, все чувствовали, что наконец устроился общий дом, где можно отдыхать, быть свободным и проводить время как захочется. Особенно интересно бывало по субботам, когда в Кружке собиралось много народа и сидели чуть не до утра.

Но как ни желателен был отдых в такой интересной компании, как ни приятны были общие встречи и развлечения, все-таки писательская группа, по своей малочисленности, была одинока. В собраниях Кружка еще не было той общественности, которую он приобрел с годами, и не было той интимности, какую так ждали и искали писатели для своих товарищеских встреч и бесед.

Небольшая группа моих личных литературных друзей продолжала, как и раньше, время от времени собираться у меня в квартире и делиться всякими новостями и впечатлениями.

Почти каждый раз кто-нибудь из писателей читал у нас свое новое произведение, о котором присутствующие давали тут же свои откровенные отзывы. Посторонних никого не бывало, и высказываться вполне искренно и без стеснений никто не мешал. А это было очень нужно тогда, потому что большинство из нас были еще молодыми людьми и только что начинали выходить на дорогу. Мы нисколько не разочаровывались в Кружке; напротив,—любили бывать там по субботам, желали ему всякого блага и, чем могли, содействовали ему. Но того, что было нам необходимо, он дать нам в то время еще не мог. Он дал нам очень много хорошего, но несколько позднее.

III

Мало-по-малу наш товарищеский кружок начал расширяться. Пришли к нам писатели: Сергей Терентьевич Семенов, автор крестьянских рассказов, выгодно отмеченных Л. Н. Толстым, который называл их „значительными, так как они касаются самого значительного сословия России—крестьянства, которое Семенов знает, как может знать его только крестьянин, живущий сам деревенской тягловою жизнью“. Пришел А. М. Федоров.

поэт и романист, живший в Одессе, но часто бывавший в Москве; затем появились Евг. П. Гославский, Н. П. Ашешов, Н. И. Тимковский. В это время издавалась в Москве газета „Курьер“, под редакцией Фейгина и Новика, людей свежих и энергичных, которые пытались об'единить всю нашу молодую группу; в этой газете начал работать в качестве судебного репортера Л. Н. Андреев, но его никто из нас еще не знал. Да он в то время и сам еще не знал, что он беллетрист.

Стали бывать у нас и художники: А. Я. Головин, К. К. Первухин, В. И. Россинский, написавший впоследствии с Андреева портрет, самый удачный по сходству из всех, мною виденных, тот самый, с которого изданы Кнебелем репродукции и выпущены открытки; этот портрет связан со „Средою“ и находится теперь в Чеховском музее. Бывали также Ап. М. Васнецов, Эмилия Шанкс, В. Я. Тишин, И. И. Левитан. Впрочем, Левитан бывал только в начале кружка: он вскоре заболел и умер. Через год кружок уже значительно разросся, и мы стали собираться еженедельно, сначала по вторникам, потом по средам, не избегая суббот Художественного Кружка, имевших для нас иной интерес и иную привлекательность.

Однажды зимою мне довелось быть в Нижнем-Новгороде. Проходя по улице, я встретился с высоким молодым человеком с длинными почти до плеч волосами. Он нес в руке несколько книг. Несмотря на мимолетность встречи, его лицо мне запомнилось. И лицо, и несколько сутулая фигура, и ясный взгляд.

На следующий день я прочитал в местной газете письмо в редакцию, за подписью: Максим Горький. Он обращался к жителям города с просьбой помочь устроить для детей бедняков каток на реке и просил присылать к нему на квартиру по указанному адресу коньки, ремешки и деньги. Пользуясь адресом, я и поехал к нему. Ко мне в прихожую, когда я позвонил, вышел отпереть дверь тот самый молодой человек, которого я встретил на улице. Познакомились просто, без всяких предисловий. Он взял меня за руку и сам повел в комнату, вызвал жену, Екатерину Павловну, познакомил с нею, потом куда-то вышел и сейчас же вернулся с ребенком на руках, завернутым в теплое одеяло.

— А это вот, Максимка—сын мой.

Стал расспрашивать о Москве, о писателях московских, большинство из которых он знал. Спросил про Ивана Бунина:

говорят, он большой юморист, правда?.. Очень интересовался нашим кружком и обещал быть непременно у нас, чтобы со всеми познакомиться.

— Как только попаду в Москву, обязательно буду у вас на Среде.

Говорили много о Художественном театре, о газете „Курьер", об эксплоатации издателями писателей, и, когда я ушел, мне казалось, будто я знаком с ним по крайней мере лет десять. На самом же деле я только тут узнал, что его зовут Алексеем Максимовичем и что фамилия его—Пешков.

Горький наезжал нередко в Москву и всегда бывал на наших Средах. По его словам, ему нравились эти товарищеские собрания, где в интимном кругу молодых писателей сами авторы читают свои новинки, еще не появившиеся в печати, самые свежие, прямо из-под пера, а товарищи высказывают о прочитанном свои откровенные мнения.

„Хочется мне,—писал он мне однажды из Арзамаса, куда был выслан из Нижнего,—чтоб вы поближе привлекли к себе Андреева: славный он, по-моему, и талантливый".

Вскоре после этого Горький приехал в Москву и в первую же среду привез к нам Андреева. Эта первая наша встреча описана в этой же книге, в статье „Про Леонида Андреева".

Не знаю, почему так случилось, но среди молодых писателей появилась вдруг тяга к Москве. Перебрались в Москву Е. Н. Чириков и Серафимович; поселились Скиталец, потом В. В. Вересаев; наезжал очень часто А. И. Куприн, жил драматург С. А. Найденов, Леонид Андреев; всегда стал зимовать И. А. Бунин. Все они были членами Среды и ее постоянными посетителями.

Но не одна только молодежь была у нас членами. Были и старшие писатели, как, например,—П. Д. Боборыкин, Н. Н. Златовратский, В. А. Гольцев, Д. Н. Мамин-Сибиряк, С. Я. Елпатьевский, Л. А. Хитрово, А. Е. Грузинский, А. П. Чехов и В. Г. Короленко. Через Среды проходили обычно если не все новинки, то большинство из них. Первое чтение пьесы „На дне", перед постановкой ее в Художественном театре, происходило у нас. Читал сам Горький; помимо своих, было приглашено много артистов и литераторов. Успех был исключительный. Прочитал Горький очень хорошо, особенно роль странника Луки. Было ясно, что в театральном мире пьеса будет событием. Так и

случилось; особенно когда Лукою вышел на сцену Москвин, бароном—Качалов, Сатиным—Станиславский.. На первом представлении автор был вызван более 20 раз.

Произведения Леонида Андреева, думаю, что все без исключения, читались автором на Средах и по-товарищески обсуждались. У нас было правило: говорить без стеснений. Это не значило, конечно, во что бы то ни стало огорчать автора. Но если он бывал достоин порицания, то уж выслушивал всю горькую правду, без снисхождения; разумеется, в тонах дружеских и необидных, хотя решительных. Так случилось с рассказом Андреева под названием „Буяниха", который до сих пор, кажется, нигде не напечатан. Так случилось с рассказом Куприна „Мебель". Но эти нападки не только не портили наших добрых отношений, а наоборот—сближали нас в действительно дружеский круг.

На Средах были читаны самими авторами: почти все пьесы Найденова, все рассказы Бунина и многие из его стихотворений, многие вещи Скитальца, Серафимовича, Голоушева, а Леонид Андреев, даже когда был за границей, присылал оттуда свои вещи по почте и требовал мнения Среды.

— Без этого,—писал он в письмах,—никакую свою вещь не могу считать законченной.

Скиталец не только читал, но приносил не однажды свои знаменитые гусли и пел народные песни. Это ему очень удавалось. Он засучивал по локоть рукава блузы—иного костюма не носил—откидывал со лба пряди волос и, проговорив негромко: „Эй, вы, гусли-мысли!", начинал петь. Голос у него был не из больших, но приятный, грудной и выразительный, и очень подходящий именно к народным песням, которые он хорошо знал и чувствовал. И неудивительно, потому что сам он сын крестьянина, и в детстве с отцом-гусляром бродил и играл по волжским ярмаркам. Это отражено в одном из его стихотворений:

Дал в наследство мне мой батюшка-гусляр:
Гусли-мысли, да веселых песен дар.
Гусляром быть доля выпала и мне—
Сеять песни по родимой стороне...

Между прочим, он пел нам из горьковского „Дна" песню „Солнце всходит и заходит"—ранее, чем мы услышали это в Художественном театре. Пел он также впервые песню о

Стеньке Разине и о персидской княжне, которую поют теперь всюду, во всех углах и закоулках России. Это Скиталец ее так популяризировал на своих гуслях; с его легкой руки она и полетела—по крайней мере, по Москве.

Вспоминается еще одна русская песня, которую довелось мне слышать при совершенно особых условиях: ранней весной, в Черном море, на простой рыбацкой лодке. Шаляпин запевал „Вниз по матушке по Волге", а Скиталец и Горький изображали хор; единственным слушателем был я, сидевший на веслах. На десятки верст вокруг не было ни одного человека. И в то время, как шаляпинский голос разносился по морскому простору и пел о „взбушевавшейся погоде", Скиталец на низких нотах, одновременно с запевалой, точно в перебой ему, призывал кого-то:—„Грянем, грянем мы, ребята!..", а затем присоединялся к общей песни, подхватывая мотив. Тут было все, что, по положению, требуется от настоящего русского пения: запевала „затягивает", голоса „пристают", подголоски „подхватывают", один „заливается", другой „выносит"... Словом, все эти надлежащие глаголы были пущены в дело...

IV

На Средах не всегда, или вернее—не все время в течение вечера, беседы были деловые и серьезные. Процветали у нас и шутки, и смех. Были в моде одно время всякие прозвища и куплеты. Помню, про андреевский рассказ „Бездна" кто-то пустил двустишие, и Андреев им очень утешался. Это случилось после того, как на него напали за „Бездну" „Новое Время" и Софья Андреевна Толстая, громившая молодого писателя. Сам же Леонид Николаевич, улыбаясь, любил повторять среди приятелей пущенный каламбур:

Будьте любезны:
Не читайте „Бездны".

Про Скитальца тоже был сложен стишок. Я не помню его целиком. В памяти удержалось только:

Юноша звал себя в мире Скитальцем,
И по трактирам скитался действительно...

Больше всех смеялся над этим сам же Скиталец, которого читатели представляли себе необычайно мрачным и страшным,

так как сам о себе он писал в стихотворениях: „Я и меч и вместе—пламя“, или „Коли пить—пей ковшом; бить—так бей кистенем“,—или: „Я ненавижу вас всех, вы—жабы в гнилом болоте!“.

Очень метко дали ему сравнение: с тигром... из м'хового магазина.

„Он пугает,—а мне не страшно“—как говорил Л. Н. Толстой о творчестве Л. Андреева.

Прозвища давались только своим постоянным товарищам, и выбирать эти прозвища дозволялось только из действительных названий московских улиц, площадей и переулков. Это называлось у нас „давать адреса“. Например, Златовратскому дан был сначала адрес: „Старые Триумфальные ворота“, но потом переменили на „Патриаршие пруды“. Гольцеву, редактору „Русской Мысли“, дали адрес: „Девичье поле“, но после изменили на „Бабий городок“. Тимковский назывался „Зацепа“, Голоушев—„Брёхов переулок“, Гославский—„Большая Молчановка“—за обычное безмолвие на диспутах, а другому товарищу, наоборот, за пристрастие к речам—„Самотека“. Скиталец получил адрес—„Хамовники“, Шаляпин—„Разгуляй“. Были у нас и „Средняя Пресня“, и „Ленивка“, и „Живодерка“. Юлий Бунин был „Старо-Газетный переулок“, Белоусов—„Пречистенка“, а Леониду Андрееву дали адрес „Большой Ново-Проектированный переулок“. Но это его не удовлетворило, и он просил дать ему возможность переменить адрес, или, как у нас называлось, „переехать“ в другое место—например, хоть на „Ваганьково кладбище“.

— Мало я вам за эти годы про покойников писал,—говорил он, бывало.—У меня что ни рассказ, то два-три покойника. Дайте мне адрес „Ваганьково“.—Я, кажется, заслужил.

Не сразу, но просьбу его все-таки уважили, и он успокоился.

Над этими адресами хохотал и потешался Чехов, когда однажды в его ялтинском кабинете ему рассказывали о них.

— А меня как прозвали?—с интересом спрашивал Антон Павлович, готовясь смеяться над собственным „адресом“.

— Вас не тронули. Вы без адреса.

— Ну, это жалко,—разочарованно говорил он.—Это очень досадно. Приедете в Москву, непременно прозовите меня. И напишите; доставите удовольствие.

Когда он узнал, что В. С. Миролюбову за его громадный рост дали адрес „Каланчевская площадь“, то с улыбкой заметил:

— Это вот слабо. Глеб Успенский его великолепно окрестил; совершенно невероятным именем, но метко: — „Пирамидальный буйвол“. Вот это — сказано!

Так, мешая дело с шутками и пустяки с работой, мы много лет дружно и хорошо жили. Время от времени возникали какие-нибудь инциденты. То кого-нибудь арестовывали, то высылали, как, например, из Ялты губернатор Думбазе начал одно время изгонять административно всех приезжих писателей; то устроили большой литературно-музыкальный вечер, который начался на эстраде в Благородном Собрании и закончился в Окружном суде на скамье подсудимых; то просто происходили персональные недоразумения и столкновения, о которых потом писали в газетах, рисовали на них карикатуры. Ничтожный сам по себе инцидент иногда раздували до события, как, например, разговор Горького с публикой на спектакле в Художественном театре, где шла в тот вечер Чеховская „Чайка“, а вовсе не „Дядя Ваня“, как утверждали в газетах „свидетели и очевидцы“ неприличного поведения Горького.

Это неприличие заключалось вот в чем: каждый антракт к гостиной, при директорской ложе, подходила довольно значительная часть публики, заполняла весь коридор и вызывала все громче и громче Горького, который сидел в гостиной с несколькими друзьями, но дверей не отворял и никак не реагировал на эти вызовы. В третьем антракте вызовы перешли в громкий и продолжительный рев: „Горь-ко-ваа!“. Дверь начали приоткрывать из коридора все смелее и чаще и, наконец, совсем распахнули. Загремели аплодисменты, заликовали поклонники, но Горький не только не раскланялся в ответ на приветствия, но быстро и решительно вышел в коридор, в толпу поклонников и резко спросил их:

— Что вам от меня нужно? Что я вам — Венера Медицейская? Или балерина? Или утопленник?.. Для чего вы пришли смотреть на меня? Нехорошо, господа: вы ставите меня в неловкое положение перед Антоном Павловичем. Ведь идет его пьеса, а не моя. И притом такая прекрасная пьеса. И сам Антон Павлович находится в театре.

Газеты подхватили этот эпизод, раздули его как схватку писателя с публикой, и года два в разных изданиях изображали

Горького в карикатурах, в виде Венеры, или утопленика, а чаще всего балериной или человеком, сидящим за столом и положившим ноги на стол.

Однажды Андрееву было поручено устроить с благотворительной целью литературный вечер; он взялся и пригласил участвовать товарищей из той же Среды. Сам он решил прочитать новый рассказ „Иностранец", Найденов—отрывок из пьесы „Жильцы", Бунин—„На край света", на мою долю досталась легенда „О трех юношах" и на долю Скитальца—стихи. Интерес к группе писателей из Среды в то время только еще разрастался, и билеты брались бойко. Громадный зал Благородного Собрания был переполнен. Авторов, впервые появлявшихся перед публикой на эстраде, шумно и долго приветствовали; успех вечера ярко определился. По установившемуся обычаю, на больших вечерах все исполнители одевались парадно: певицы в бальных платьях, чтецы и музыканты—во фраках. Один только Скиталец, пришедший лишь к самому концу вечера, явился в неизменной блузе и только вместо обыкновенного галстука размахнул по всей груди какой-то широкий синий бант. В виду опоздания, ему достался самый последний, заключительный номер. И вот, в раскаленную уже успехом вечера атмосферу, после фраков, скрипок, причесок и дамских декольтэ, вдруг влетает на эстраду косматый, свирепого вида блузник, делает движения, как бы собираясь засучивать рукава, быстрыми шагами подходит к самому краю помоста и, вскинув голову, громким голосом, на все Собрание, выбрасывает слова, точно камни:

... Пусть лежит у вас на-сердце тень!
Песнь моя не понравится вам:
Зазвенит она, словно кистень
По пустым головам!..
Я к вам явился возвестить:
Жизнь казни вашей ждет!
Жизнь хочет вам нещадно мстить
Она за мной идет!..

Когда он кончил стихотворение и замолк, то поднялся в зале не только стук, треск и гром, но буквально заревела буря. По словам газеты „Курьер", сохранившейся у меня в вырезке, „буря эта превратилась в настоящий ураган, когда Скиталец на бис прочел стихотворение: „Нет я не с вами". Стены Благородного Собрания вероятно в первый раз слышали такие песни

и никогда не видели исполнителя в столь простом костюме"...

Так сообщала газета. Так это все и было на самом деле. Но в тогдашних газетах все-таки нельзя было написать обо всем, что случилось.

Я ненавижу глубоко, страстно
Всех вас; вы—жабы в гнилом болоте!..

Так выкрикивал Скиталец в публику громовым голосом, потрясая над головой рукою и встряхивая волосами:

— „Мой бог—не ваш бог: ваш бог прощает... А мой бог—мститель! Мой бог карает! Мой бог предаст вас громам и карам. Господь мой грянет грозой над вами, и—оживит вас своим ударом"!

Полицейский пристав, сидевший на дежурстве в первом ряду кресел, не дожидаясь конца, поднялся и резко заявил, что прекращает концерт. Публика с криком бросилась с мест, придвинулась вплотную к эстраде, а молодежь полезла даже на самый помост. Крики, визг, стук и топот, восторги и возмущение—все это оглушало, ничего нельзя было разобрать. Полиция распорядилась гасить огни. И блестящий зал сразу потускнел. Одна за одной гасли огромные люстры, но народ все кричал, стучал и не расходился. Становилось темно. Наконец, полиция явилась в комнату артистов, где был сервирован для них чай: „Немедленно покиньте помещение!" Когда удалили исполнителей, публика поневоле затихла и в полутьме побрела к своим шубам. Но на улице, у под'езда, опять поднялись крики.

Кончилось все это тем, что Скиталец уехал на Волгу, общество помощи учащимся женщинам заработало с вечера хорошую сумму, а Леонид Андреев, как официальный устроитель вечера, подписавший афишу, внезапно был привлечен к ответственности в уголовном порядке за то, что не воспрепятствовал Скитальцу прочитать стихотворение, где пророчилась революция и гнев народный. Нас всех вызывали к следователю для допроса, а затем свидетелями в Окружный суд, где Леонид Николаевич сидел на скамье подсудимых и чуть-чуть не пострадал неведомо за что.

— Писал Скиталец, читал Скиталец и прославился Скиталец,—а меня хотят посадить, либо выслать,—смеялся Андреев уже в зале суда перед началом процесса.

Однако суд его оправдал.

Акварель, 1902 г. рис. Ю. Л. Пф-ль.

пианино: Е. И. Голоушева; влево от нее у стены Гославский Е. П. и Голошев С. С.; на 1-м плане Н. И. Тимковский, на 2-м плане Н. Д. Телешов; вправо у стены Ю. А. Бунин и Л. А. Хитрово; сидит И. А. Белоусов.

V

Вспоминается еще один инцидент—с Горьким. Его ждали в Москву, проездом из Нижнего-Новгорода в Ялту. И вот мы узнаем однажды, что семья Горького приехала сюда, а сам Алексей Максимович арестован на товарной станции, под самой Москвой: вагон, где находился Горький, отцепили от нижегородского поезда, поставили на курские рельсы и под надзором жандарма отправили в Подольск. Так это было или не так, почему могло случиться и надолго ли—никто ничего не знал. Нужно было увидеться; если можно—выручить; во всяком случае, выяснить дело. Немедленно собрались: Андреев, Бунин и я, и с первым же поездом поехали в Подольск. На вокзале к нам присоединились К. П. Пятницкий, заведывавший издательством „Знание“, и переводчик Горького на немецкий язык—Шольц, специально приехавший из Берлина познакомиться лично с Алексеем Максимовичем и своими глазами увидать, как живут в России знаменитые писатели. И увидал.

Сюда же, на свидание с Горьким, приехал и Ф. И. Шаляпин. Здесь, на платформе Подольска, мы все и познакомились с ним. Через минуту начальник станции с дежурным жандармом впустил нас в дамскую комнату, где, точно зверь в клетке, метался из угла в угол, заложив руки за спину, Алексей Максимович. Увидев первых двоих, он остановился вдруг и протянул вперед руки. За первыми показались двое вторых, потом третьи. Удивленяе и радость были в его глазах.

— Что семья?—было первым его вопросом.—Где они все?

До обратного нашего поезда было времени часа три. Сидеть в дамской комнате было не очень удобно, и мы решили поехать со станции в город. Пришлось, однако, спрашивать об этом жандарма.

Ныряя в санях по ухабам среди зимних сумерек, мы добрались до какого-то „первоклассного“ ресторана, где нам отвели отдельный кабинет, в котором мы еле уместили свои шубы, навалив их одну на другую, а сесть было уже некуда. Тогда нам отвели второй кабинет, рядом с шубами; здесь мы и устроились, но так, что дверь в коридор пришлось оставить открытой, иначе все семеро мы не вмещались. Пока подавали чай, пока накрывали ужин, по городу уже прошел слух, что приехал Горький с писателями и с Шаляпиным, и к вокзалу потянулись

любопытные—ожидать, что из всего этого может воспоследовать. А у нас в первоклассном ресторане происходило следующее. Только что мы устроились и даже незатворявшуюся дверь занавесили скатертью, как до слуха нашего донеслось приближающееся звяканье шпор: мимо нашего кабинета прошло несколько пар ног. Немец забеспокоился: что это значит? Затем, через минуту, не выдержал и вышел в коридор, откуда вернулся взволнованный и побледневший:

— Они роются в наших шубах,—в ужасе сообщил он.

Но ему ответили, что это у нас дело обыкновенное и что волноваться не стоит: чему быть, того не миновать—как говорить пословица. А еще через несколько времени, робко приподняв нашу занавеску, появился смущенный хозяин, кланяясь и извиняясь, с домовой книгой в руках. Он положил книгу на стол и просил всех нас расписаться: кто мы такие, откуда и как нас зовут, уверяя, что у них такой закон, чтобы все приезжие писали о себе все сведения и адрес, и всю правду.

— Приезжий здесь—один я,—вдруг заявил Шаляпин серьезно и твердо.—А это—мои гости. Такого закона нет, чтобы гостей переписывать. Давайте книгу, я один распишусь в чем следует.

Не без трепета следил хозяин за словами, которые начал вписывать в книгу Шаляпин. Увидав, наконец, что мучитель его—артист „Императорских" театров, облегченно вздохнул и успокоился.

Когда мы вернулись на вокзал, там был, вероятно, весь город. Но нас встретили жандармы и хотя очень вежливо, но все-таки в определенном окружении провели снова в дамскую комнату, где мы и просидели безвыходно до скорого поезда из Москвы в Севастополь, с которым ехала семья Горького и с которым поехал он и сам без дальнейших инцидентов. Таким образом, весь смысл и вся премудрость подольской задержки сводилась только к тому, чтобы не впустить опасного писателя в столичный город Москву.

Когда мы возвращались с пригородным поездом, немец всю дорогу не мог успокоиться и все изумлялся. А впоследствии прислал нам нумер берлинской газеты, где подробно и не стесняясь описывал нашу поездку в Подольск и свою попытку увидеть воочию, как живут на Руси братья-писатели.

После этого, на Среды время от времени стал приезжать Шаляпин. Иногда он принимал участие в общей беседе, а иногда

садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, начинал петь. Пел он романсы, русские народные песни, пел арии, пел куплеты, шутки, французские шансонетки. Пел он и Марсельезу, пел Дубинушку, пел Блоху. Марсельезу он исполнял так, что дух захватывало от восторженного под'ема.

Однажды, я помню, был вечер, когда Шаляпин прямо, как только приехал, заявил нам:

— Братцы, петь хочу!

Он вызвал по телефону С. В. Рахманинова и ему тоже сказал:

— Петь до смерти хочется. Возьми лихача и скачи скорей на Среду. Будем всю ночь петь.

Рахманинов вскоре приехал. Шаляпин не дал ему даже чаю напиться. Усадил за рояль—и началось нечто удивительное. Это было в самый разгар шаляпинской славы и силы. Он был в необычайном ударе и пел, действительно, без конца. Никаких чтений в тот вечер не было, и не могло быть. На него нашло вдохновение. Никогда и нигде не был он так обаятелен и прекрасен, как в тот вечер. Даже сам несколько раз говорил нам:

— Здесь меня послушайте, а не в Большом Театре.

Шаляпин поджигал Рахманинова, а Рахманинов задорил Шаляпина. И эти два великана, увлекая один другого, буквально творили чудеса. Это было уже не пение и не музыка—в общепринятом значении, это был какой-то припадок вдохновения двух крупнейших артистов нашего времени.

Как сейчас, вижу эту большую комнату, освещенную только одной лампой над столом, за которым сидят наши товарищи и глядят все в одну сторону—туда, где за пианино видна черная спина Рахманинова и его гладко стриженый затылок. Локти его быстро двигаются, тонкие длинные пальцы ударяют по клавишам. А у стены—лицом к нам—высокая стройная фигура Шаляпина. Он в длинных сапогах и в легкой черной поддевке, великолепно сшитой из тонкого сукна. Одной рукой слегка облокотился на пианино. Лицо вдохновенное, строгое. Никакого следа только что сказанной шутки. Ждет момента вступления. Преобразился в того, чью душу сейчас раскроет перед нами, и заставит всех чувствовать то, что сам чувствует, и понимать так, как сам понимает.

Такого шаляпинского концерта, как был этот, экспромтный, уже никогда более не услышишь.

К сожалению, правдивы слова и полны глубокой грусти, что никогда и никакой рассказ о том, как исполнял артист—не воссоздаст его чарующие образы, как никакой рассказ о солнце пламенного юга не поднимает температуру холодного дня...

VI

Под солнцем пламенного юга, загнанный туда роковым недугом от любимых подмосковных берез и тихих илистых прудов с карасями, жил больной писатель А. П. Чехов, которому как ни пытались рассказать и передать об исполнении в Московском Художественном Театре его пьесы „Дядя Ваня", не могли, конечно, воссоздать рассказами ни действительных образов, ни действительного впечатления от исполнения и постановки. Надо было видеть самому, чтоб оценить и почувствовать. И Художественный Театр избирает местом своих гастролей именно Крым и едет в Севастополь с намерением показать „Дядю Ваню" своему любимому писателю. Лично я не был свидетелем этого севастопольского спектакля, но слышал в Ялте от самого Антона Павловича, что он был очень доволен и тронут, хотя из обычной авторской скромности и не выражал этого открыто.

Как относился Художественный театр к драматическим произведениям А. П., ясно сказалось в одной из речей К. С. Станиславского: „От А. П. Чехова из Ялты прилетела к нам Чайка; она принесла нам счастье и, подобно вифлиемской звезде, указала новые пути в нашем искусстве"...

После гастролей труппа поехала в Ялту на отдых, где съехалось и жило в это время немало писателей; помню, был Горький с семьей, Елпатьевский, Мамин-Сибиряк, Куприн, Найденов, Бунин... Между прочим, вспоминается там же, в Ялте, старик Синани, караим, у которого на набережной был небольшой книжный магазин и вместе табачная торговля. Писатели и артисты ежедневно бывали у него, кто за папиросами, кто просто так, ради встречи с другими. Нередко можно было встретить и Чехова сидящим на скамье, на улице, у дверей этого магазина. У Синани была большая толстая тетрадь в хорошем переплете—альбом, где все многочисленные его знакомые из артистического мира вписывали на память об Ялте по несколько строк. Книга эта очень интересна по множеству автографов известных людей, и было бы жаль, если б она затерялась

по частным рукам. Помню, Мамин-Сибиряк написал в ней о Крыме недостаточно почтительно, и Синани с удивлением показывал всем эту страницу: — „Ехал в Ялту с радостью. Уезжаю из Ялты с удовольствием".

На другой же день по приезде труппы в Городском саду был устроен товарищеский обед, на котором участвовали артисты и писатели. Все перезнакомились, и это было началом сближения Театра с Горьким, у которого уже созревал план пьесы „На дне", но был еще не разработан, и он вчерне передавал о нем Немировичу-Данченко и Станиславскому. Осенью пьеса была закончена и прочитана на „Среде", а затем поставлена в Художественном Театре.

Время наше не было легким; общественность давили; в ком можно — убивали мысль, в ком нельзя, тем зажимали рты. Но в воздухе парил уже Буревестник. Мало-по-малу приближался 1905 год. Среда чутко реагировала на все выдающиеся явления общественной жизни. Отсюда нередко исходила инициатива всемосковского протеста по поводу особо возмутительных действий тогдашнего правительства.

„Надо заступиться за киевских студентов — писал мне в 1901 году Горький из Нижнего-Новгорода: — Надо сочинить петицию об отмене временных правил. Хлопочите. Некоторые города уже начинают"... И составлялись протесты, покрывались сотнями подписей, писались петиции, читались резкие доклады. Инициаторами подобных выступлений бывали у нас обычно Вересаев, Тимковский и Горький. „Средою" издан был даже особый товарищеский сборник под названием „Книга рассказов и стихотворений". Издан он был „на всякий случай". И вырученные деньги целиком были отданы в 1905 году на вспыхнувшую почтово-телеграфную забастовку, проведенную героически и имевшую большое влияние на получение манифеста о Государственной Думе.

Кроме обычных наших и постоянных собраний, время от времени делались так называемые „Большие Среды", когда с'езжалось очень много народа. Мы не чуждались тогдашнего нового направления — декадентов, модернистов и иных — и у нас можно было встретить на таких собраниях приветливо принятых Брюсова, Бальмонта, Белого, Кречетова, Сологуба... На такие вечера приезжали и актеры, как В. И. Качалов и О. Л. Книппер, адвокаты — как Муравьев, Тесленко, Малянтович; бывали врачи,

художники, журналисты, издатели, профессора. Однако все они были чьи-либо, из наших, личные знакомые, в которых мы не могли сомневаться. Случайных людей, хотя бы и очень интересных, не допускали, по причинам понятным. Строгий отбор гарантировал и нас и наших гостей от недреманного ока—от развивавшегося в то время невероятного сыска. А недреманное око Средою интересовалось—это было известно. Эти „большие" или „выходные" Среды делались умышленно не у меня в квартире, а либо у Л. Андреева, либо у Голоушева. Все это заблаговременно обсуждалось Средою и никогда не носило случайного характера, а выполнялось в качестве постановления, для гостей наших, может быть, и неизвестного.

Многим, вероятно, памятны литературные „Сборники Знания", так нашумевшие в свое время и сыгравшие определенную роль в эпоху 1905 года. Эти сборники зародились все на той же Среде, и первые выпуски были составлены исключительно из произведений прочитанных авторами на Средах, за которыми приезжал лично Горький. Вот содержание первой книги: Л. Андреев—„Жизнь Василия Фивейского". Ив. Бунин—„Чернозем", и стихи,В. Вересаев „Перед завесой". Н.Гарин—„Деревенская драма". М. Горький—„Человек". С. Гусев—„В приходе". А. Серафимович—„В пути". Н. Телешов—„Между двух берегов".

В книге было 325 страниц и стоила она один рубль. Авторам было заплачено по 400 рублей с листа, и, несмотря, на высокий по тогдашнему времени гонорар, на первой странице книги было об'явлено, что из прибыли с настоящего сборника отчисляется тысяча рублей в распоряжение Литературного Фонда; тысяча—Высшим Женским Курсам; тысяча—Женскому Медицинскому Институту; тысяча—Об-ву Учителей и Учительниц на общежитие для детей; тысяча — Об-ву Охранения Народного Здравия на постройку детского дома и 500 рублей на народную читальню в Кемь. Об'явление этих пожертвований произвело тогда потрясающее впечатление и на публику и на сферы. Во второй книжке участвовали: Куприн, Скиталец, Чириков, Юшкевич и А. П. Чехов, давший пьесу „Вишневый сад". Таких сборников вышло в общем около 40. Когда же через несколько лет издательство „Знание" прекратилось, Среда немедленно попыталась заполнить этот пробел и организовала в Москве „Книгоиздательство Писателей", с ярко выраженной защитой авторов от издательской зависимости. Над нашей затеей смеялись, потому

что мы об'явили:—„От издания книги—весь доход принадлежит автору, а не издателю". Это, может быть, было и ново и дерзко, но это было именно так, и не было смешно, потому что Среда доказывала это на деле в течение десятка лет. Частные издатели и всякие скупщики авторских рукописей — эти „любители российской словесности" — как называл их в шутку и с горя Мамин-Сибиряк, — сначала подсмеивались над нами. Но потом перестали смеяться.

Личные отношения участников Среды были вполне дружеские, во всяком случае среди большинства, и очень сердечные и искренние; особенно между некоторыми из нас. Близость была не только писательская, профессиональная или товарищеская, но и чисто личная и семейная, что придавало еще большую интимность нашим взаимоотношениям.

В главе о Леониде Андрееве приводятся некоторые из его писем о Среде и о товарищах по Среде. Письма эти писаны через год после нашего первого знакомства, и через 6 лет, и через 15 лет,—и во всех них то же самое внимание, те же заботы, та же привязанность.

И другие товарищи, или вернее многие из других, относились к Среде так же, или почти так же внимательно и сердечно.

А вот и слова А. П. Чехова, сказанные им накануне от'езда за границу, в Баденвейлер, ставший для него роковым:

„Умирать еду. Поклонитесь от меня товарищам вашим по Среде. Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю. Пожелайте им от меня счастья. Больше уже не встретимся".

VII.

Начиная с 1909 г. характер Сред коренным образом изменился. Собираться стали уже не в частных квартирах, а в Литературно-Художественном Кружке, на Дмитровке, где отводилось Среде хорошее помещение. Во главе этих собраний стал Юлий Бунин. В первую же зиму число участников настолько выросло, благодаря молодым поэтам и молодым писателям, что большой запасный зал Кружка еле вмещал всех желающих. После чтений и прений устраивался обычно товарищеский ужин или чай, с тостами, стихами, остротами и любопытными стихотворными „протоколами", блестяще-остроумными, которые сочинял тут

же за ужином, не выходя из комнаты, экспромтом М. П. Гальперин и прочитывал всему собранию о его сегодняшнем поведении, перечисляя более выдававшиеся за вечер имена, слова и случаи—в несколько утрированном виде. Но эти веселые ужины и чаи вызвали, однако, опасение одного из старых участников и основателей Сред, который однажды сказал—тоже экспромтом—не то шутя, не то серьезно:

Говорят, грозит беда: не заела б нас среда,—
Нет, боюсь иной беды: не пропить бы нам Среды.

Количество новых участников неимоверно росло; зато старые товарищи стали появляться на собраниях все реже и реже. По несколько раз в зиму они опять начали собираться или у меня, или изредка у Голоушева. Многих из прежних не стало: кто уехал за границу, кто в Петербург, или в провинцию, кое-кто перестал бывать. Но, с другой стороны, за это же время были и хорошие пополнения: сблизились с нами Ив. Ив. Попов и И. С. Шмелев, человек талантливый и яркий, и с ними быстро установились прочные товарищеские отношения.

В сущности, старой Среды больше уже не существовало. Жива была новая, или молодая Среда, многочисленная, деятельная, всем интересующаяся, в которой старые основатели Сред бывали скорее как гости, и каждый ответственным был только за себя самого. Но в отдельности „старики" оставались друг с другом товарищами. Они теперь сплотились вокруг Книгоиздательства Писателей, войдя в совет и редакцию; почти все они были также в составе дирекции Литературно-Художественного Кружка, в правлении Об-ва Деятелей Периодической Печати и в Суде Чести, работали в правлении Кассы Взаимопомощи Литераторов и Ученых. Всегда было что-нибудь такое, что связывало их и держало в каком-то единении. И даже во время войны Среде было поручено составить сборник на помощь жертвам мировой бойни. И Среда выделила из своего состава трех редакторов: И. А. Бунина, В. В. Вересаева и Н. Д. Телешова, которые и составили этот сборник под названием „Клич", где участвовали лучшие современные писатели, крупные художники и знаменитые композиторы. Сборник был распродан в три дня и дал чистой прибыли, согласно опубликованному отчету, тридцать четыре тысячи рублей, по старому, твердому курсу.

В течение четверти века не было, или почти не было, в Москве ни одного культурного начинания, ни одного общественного дела, где бы так или иначе не принимала горячего и ближайшего участия Среда, если не как коллектив, то в лице своих отдельных членов. К Среде неоднократно обращались общественные группы, когда возникали серьезные принципиальные конфликты и требовалось беспристрастное третейское решение. В таких случаях Среда указывала на одного из своих сотоварищей и его избирали в судьи. Авторитет Среды стоял высоко.

Один молодой поэт, из группы модернистов, был заподозрен в провокации, и на его голову посыпались обвинения в предательстве и продаже своих друзей. Началось все это с корреспонденции из Парижа, напечатанной в одной московской газете; внутано было сюда имя известного „всезная" по этой части, Вл. Бурцева, который признавал, что за поэтом провокация налицо. Обвинение было настолько определенно, а намеки настолько прозрачны, что имя заподозренного называлось уже прямо, хотя в корреспонденциях оно не фигурировало, и поэту многие перестали подавать руку, затем журналы прекратили прием и печатание его работ, затем ему было отказано в какой-то службе. С потерей доброго имени пропали и средства к жизни. Защищаться возможности не было, потому что нельзя было подать жалобу в государственный, так называемый „коронный" суд, благодаря политически-скользкой теме. Какое же правительство согласится, в самом деле, считать за преступление службу в своем политическом агентстве и работу в нем рассматривать как позор для сотрудника? И в каком положении оказались бы свидетели как сами, так и все те люди и кружки, о которых пришлось бы показывать и выслушивать всю „подноготную?".. Для сыска и для широкого предательства такой процесс был бы величайшим торжеством и праздником.

Из создавшегося тупика выхода не было; травля продолжалась, пока не составился „частный суд" при совершенно закрытых дверях для всех посторонних. В состав суда входило семь лиц—представителей адвокатуры, литературы и общественности; в их числе занимал место один из Среды. Председательствовал С. И. Филатов, в то время председатель Совета присяжных поверенных. Судьям вверялся вопрос о добром имени

человека и, в связи с этим, несомненно, о его жизни и смерти,—настолько серьезно разыгрался и мучительно протекал этот скандал.

Процесс тянулся несколько месяцев—с осени до весны. Из показаний множества свидетелей, преимущественно из литературного и журнального мира, выяснились ужасающие картины сыска, гнета, подкупа, торговли головами людей. По ходу дела, стало неизбежным предложить ряд существенных вопросов как автору позорящих статей, так и В. Л. Бурцеву. Но оба они жили в Париже. Посылать вопросы и получать ответы через почту было равносильно открытию дверей и даже хуже, так как все письма, несомненно, были бы тайно читаны жандармерией. И суд был вынужден послать нарочного—верного человека—с необходимыми письменными вопросами в Париж, добиться там личного свидания и привезти суду письменные же ответы. Это сложное поручение и затормозило течение процесса.

Обязанности судей были морально тяжелы и крайне ответственны: нельзя обелять виновного в гнусных предательствах, но нельзя и винить в таком деле по предположению, без доказательств. Были приняты все меры к выявлению истины. И после долгих, упорных и мучительных трудов суд пришел к заключению, что обвинение не подтвердилось решительно ничем. Доброе имя, а с ним, вероятно, и жизнь писателя были спасены. Но участвовать в этом суде и решать эти вопросы было сущей пыткой.

Члены Среды имели возможность влиять на самые разнообразные стороны жизни: через Литературно-Художественный Кружок они помогали писателям, артистам, художникам и просто людям интеллигентного труда, впавшим в беду или крайность; через Общество Периодической Печати, с его Судом Чести, защищали права и достоинство отдельных деятелей; чер Кассу Взаимопомощи Литераторов и Ученых собирались трудовым грошам товарищеские средства, и члены Кассы за четверть века работы в последние годы стали иметь возможность бесплатно учить своих детей, доживать более или менее сносно свой век на пенсии и даже лечиться и жить в Ессентуках, где было оборудовано помещение для приезжающих писателей, а в случае смерти, осиротевшая семья получала немедленно и без всяких хлопот поразрядную сумму денег.

Последнее собрание Среды состоялось в 1916 году, на котором приехавший из Петрограда Андреев знакомил нас с своей новой—последней пьесой—трагедией „Сампсон“, которую присутствии автора прочитал Голоушев.

Вспоминая теперь о Среде, невольно хочется сказать словами Пушкинского Пимена о ее минувшем времени:

Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море-океан.
Теперь оно безмолвно и спокойно...

ПРО ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

ПРО ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

За год или за два до того, как вышла первая книжка рассказов Леонида Андреева,—а вышла она в 1901 году,—Горький писал мне однажды из Нижнего-Новгорода, что ему нравятся наши товарищеские собрания, так называемые „Среды", и что он когда будет в Москве, непременно станет посещать их. Между прочим, Горький писал, что рекомендует и просит приютить и приласкать молодого, начинающего писателя, Андреева, человека хотя и неизвестного, но очень милого и талантливого.

Вскоре после этого Горький приехал в Москву и в первую же Среду привез к нам Андреева.

Это был молодой человек, типа студента, с красивым лицом, с небольшой бородкой и черными длинными волосами, очень тихий и молчаливый, одетый в пиджак табачного цвета. В десять часов, когда обычно начиналось у нас чтение, Горький предложил выслушать небольшой рассказ молодого автора.

— Я вчера его слушал,—сказал Горький,—и признаюсь, у меня на глазах были слезы.

Но Андреев стал говорить, что сегодня у него болит горло, что читать он не может; словом, заскромничал и смутился.

— Тогда, давайте, я прочитаю,—вызвался Горький.

Взял тоненькую тетрадку, сел к лампе и начал:

— Рассказ называется „Молчание"...

Чтение длилось около получаса. Андреев сидел рядом с Горьким, все время не шевельнувшись, положив ногу на ногу и не сводя глаз с одной точки, которую он выбрал где-то вдалеке, в полутемном углу. Конечно, он чувствовал, что на него все смотрят. Но вряд ли он чувствовал в то время, что каждая прочитанная страница сближает с ним этих, хотя и знаемых, но

все же чужих ему людей, среди которых сидит он, точно новичок в школе.

Чтение кончилось... Горький поднял глаза, ласково улыбнулся Андрееву и сказал:

— Чорт возьми, опять меня прошибло!

„Прошибло“ не одного Алексея Максимовича. Всем было ясно что в лице этого новичка Среда приобретала хорошего талантливого товарища. Находившийся среди нас Миролюбов, издатель популярного в то время „Журнала для всех“, подошел к Андрееву, взял у него тетрадку и убрал в карман. У Андреева глаза заблестели. Печатать у Миролюбова, в его журнале с такой хорошей репутацией и с громадным количеством подписчиков и читателей, было не то, что появляться в „Курьере“, скромной московской газете, где пока он работал.

Вскоре рассказ был напечатан.

Андреев с первого же вечера сделался в Среде своим человеком. За „Молчанием“ следовали другие рассказы, и все они проходили через Среду. И „Жили-были“, и „Сергей Петрович“, и „Стена“, и знаменитая „Бездна“—все было читано самим автором по черновым тетрадкам. И автор выслушивал самые искренние отзывы как с похвалой, так и с возражениями. Однажды он прочитал рассказ под названием „Буяниха“ и получил такой дружный отпор, что при жизни Андреева рассказ этот нигде напечатан не был.

Однажды,—лет уже через семь или восемь,—когда Андреев был знаменит, я просил его дать для одного благотворительного сборника, в чем он мне никогда не отказывал, какую-нибудь вещь, а у него ничего готового не было; я вспомнил тогда про „Буяниху“ и написал ему об этом. Он отвечал мне следующим письмом:

„Рассказ я для тебя напишу, клянусь в этом потрохами того гуся, который спас Рим,—но сделать это раньше конца октября не могу. „Буяниха“,—та, которую ты, к сожалению, не забыл, есть позорнейшее явление в литературе, стыд и срам и поношение человеку...“

Андреев с первого же приезда точно слился со Средой. Он, кажется, не пропустил ни одного собрания, за исключением тех двух сроков, когда лежал в клинике и когда сидел в Таганской тюрьме. Всю зиму он приходил к нам в своем „рыжем“ пиджаке, был как усердным чтецом, так и внимательным слушателем,

Совет О-ва Периодич. печати и литературы.

Стоят: Белоусов И. А., Сумбатов А. И., Данилин И. А. и Скворцов Н. А.
Сидят: Телешов Н. Д., Боборыкин П. Д., Попов И. И. и Бунин Ю. А.

о себе был скромного мнения и заработки имел тоже чрезмерно скромные.

В конце зимы, когда у Андреева набралось уже несколько рассказов, ему захотелось издать их отдельной книжкой. Но это было очень нелегко. Как автора, его знали только свои люди; до большой публики и даже до издательского уха его имя еще не долетело. Наконец, как-то ухитрились, познакомили его с одним очень крупным издателем, уговорили того взять эту небольшую книжечку. Из уважения к рекомендующим издатель взял, даже не читая: в большом корабле всегда найдется место для такого груза. Издатель выдал Андрееву гонорар,—помнится, 500 рублей за всю книгу,—и положил ее в запас. Шли месяц за месяцем, а книжку и не думали сдавать в типографию. Андреев все ждал, все надеялся: он придавал большое значение для себя появлению этой книги. Он был прав, как потом оказалось. Эта книга вывела его сразу на широкую дорогу.

Помню, одно время его начинало смущать его собственное имя: Андреев.

— Хочу взять себе псевдоним,—говорил он,—да никак не придумаю. Выходит или вычурно или глупо. Оттого и книжку мою издатель не печатает, что имя мое решительно ничего не выражает: „Андреев“ — что такое Андреев?.. Даже запомнить нельзя. Совершенно безразличное имя, ничего не выражающее. „Л. Андреев“—вот так автор!

— Но ведь есть же писатель Никитин,—возражали ему.—Все его знают, ни с кем не смешивают. Почему не быть теперь писателю Андрееву?

— Никитин это все-таки другое. А вот Андреев—не то.

Эти поиски псевдонима кончились тем, что решено было поставить на книге не „Л. Андреев“, а „Леонид Андреев“. Это казалось ему менее безличным.

Пока книжка его спокойно лежала у издателя, дожидаясь неведомо какой очереди или особо счастливого случая, в Петербурге возникло новое издательство—„Знание“, во главе с Горьким и Пятницким. Конечно, рассказы Андреева оказались здесь очень желательными. Нужно было только расторгнуть первый договор. И опять пошли к издателю те же лица хлопотать о том, чтоб издатель не издавал книжку, и выручить обратно залежавшиеся черновики. К общему удовольствию, издатель сам был рад, что не нужно будет печатать какого-то Андреева, тратить на него

бумагу и хлопоты. В минуту разменялись договорами, отдали назад 500 рублей, получили рукопись и—прямым ходом на почту и в Петербург, в типографию.

Всякий молодой писатель, в первый раз в жизни печатающий свою книгу, знает, что это за наслаждение получать свежие корректурные листы из типографии, пахнущие скипидаром и краской. Нет на свете лучшего аромата, нет на свете никого в эту минуту счастливее автора. Переживал эту профессиональную радость и Леонид Николаевич, и пока печаталась его книга, он не выкладывал из кармана новые оттиснутые листы, так и носил их с собою и в гости, и в театр, и на улицу.

Книжка Андреева, наконец, вышла. В ней было всего десять рассказов и стоила она 80 копеек. Большие надежды возлагал на нее Леонид Николаевич. Но того, что случилось, он не ожидал. Прежде всего он получил большое, очень хорошее письмо от Н. К. Михайловского, где тот приветствовал молодого автора, пророчил ему будущность и обещал написать о нем серьезную статью. Вскоре хвалебная статья появилась в „Русском Богатстве" за полной подписью Михайловского, и этого было достаточно, чтобы литературный мир считался с появлением нового крупного дарования. Имя Леонида Андреева стало сразу известным и вскоре заблистало в литературе. Все журналы и газеты заговорили о нем. Книга его, что называется—„полетела". Потребовалось новое издание, которое вскоре и вышло, пополненное новыми рассказами, и в их числе „Бездной". Благодаря этой „Бездне" вокруг имени Андреева поднялся шум, визг, улюлюканье.

Статьи „Нового Времени" и Софьи Андреевны Толстой, громившие молодого писателя, только подливали масло в огонь, и об Андрееве и о „Бездне" заговорили все—кто за, кто против.

У Андреева была невеста, очень милая молодая девушка, курсистка, тоненькая, черненькая; звали ее Александрой Михайловной Вельгорской. Они появлялись всегда вместе: в театрах на новинках, в концертах. Это была заметная и красивая парочка. И вот, однажды, я нашел у себя на столе следующее письмо, оригинальное по тону, в котором чувствовалась радостная забота счастливого человека:

„Милый друг! Будь моим отцом! Будь моим посаженным отцом. Свадьба моя 10-го (через три дня), в воскресенье. Посторонних

никого, одни родственники- по-просту. Голоушев—шафер. Будь моим отцом!.. Я прошу тебя: будь моим отцом! Если таковым быть окончательно не можешь, то приезжай в качестве друга. Доставь мне радость, приезжай. И еще раз прошу тебя: будь моим отцом. Церковь: Никола Явленный на Арбате. Будь моим отцом!"

И отцом его я был... Свадьба была очень веселая. Леонид Николаевич был как-то внутренно радостен и необыкновенно покорен. Что ему говорили, то он и выполнял, без возражения, что называется—без оглядки и с удовольствием.

Были и танцы. Андреева заблаговременно научили танцовать, и он танцовал вальс, польку и кадриль. Между прочим, подойдя ко мне и глядя с улыбкой на танцующие пары, сказал:

— А что, отец, если всю нашу Среду выучить танцовать?.. Представь себе: вот так же, как эти, вдруг затанцуют — Вересаев, Белоусов, Ванечка Бунин... Представь себе: в вихре вальса вдруг несется мрачный Скиталец... Или Мамин-Сибиряк с своей неразлучной трубкой и с дымом... Очень занятно! Ты только вообрази.

Насколько я знаю, в семейной жизни Андреев был очень счастлив; правда—недолго: Александра Михайловна, которую было бы справедливо назвать его добрым гением, умерла после второго ребенка. За эти недолгие годы Леонид Николаевич много и хорошо работал и упрочил за собою большое литературное имя. Появился „Василий Фивейский", прочитанный, как почти все андреевское, на Среде и с громадным успехом.

К этому времени возникла мысль издавать товарищеские сборники; товарищество „Знание" также интересовалось этим, и первый „Сборник Знания" за 1903 год был составлен весь из материалов Среды; „Жизнь Василия Фивейского" вошла на первую страницу.

К этому времени Леонид Николаевич стал появляться везде— в гостях, и дома, и в театре—в поддевке и высоких сапогах. Это дало мелкой прессе повод к зубоскальству. Начали вышучивать андреевскую поддевку и совершенно некстати рассказывать в печати об Андрееве всякие были и небылицы, нередко очень злые и обидные. Рассказывали, будто Леонид Николаевич выпивает „аршин водки", т.-е. ставит рюмку за рюмкой на протяжении целого аршина и выпивает их без передышки одну за другою. В другой газете напечатали, что писатель Андреев, „эта современная известность", по поводу юбилея

Златовратского надменно и удивленно спросил:—„Разве есть такой писатель—Златовратский? Я что то не слыхал“... И весь этот вздор говорился про человека, который не только „слыхал“, но и постоянно встречался с Златовратским на тех же Средах, и одним из первых подписался под юбилейным адресом от Среды.. Быстрый и широкий успех Андреева породил много недоброжелателей и завистников, которые по разным поводам и под разными псевдонимами травили его из-за угла. Леонид Николаевич обычно отшучивался, но иные выходки задевали и обижали его. Но были и такие забавные и остроумные шутки, над которыми он сам же искренно потешался.

Он любил шутку, острое словцо,—о чем свидетельствуют многие из его фельетонов в „Курьере“, подписанные „Джемс Линч“. Не-редко он говорил:

— Меня почему-то зачислили в кандидаты самоубийц... Неправда это: я люблю жизнь, люблю радость.

Тем не менее новые рассказы его становились все мрачней и мрачней: „Василий Фивейский“, „Доктор Керженцев“, наконец, „Красный смех“... Когда он писал этот „Красный смех“, то по ночам его самого трепала лихорадка, он приходил в такое нервное состояние, что боялся быть один в комнате, и его верный друг, Александра Михайловна, молча просиживала у него в кабинете целые ночи без сна, кутаясь в теплый платок, облегчая мужа своим присутствием и безмолвием.

Недаром же на пьесе „Жизнь человека“, которую Андреев писал в 1906 году в Германии, незадолго до смерти Александры Михайловны, есть следующая трогательная надпись:

„Светлой памяти моего друга, мой жены, посвящаю эту вещь, последнюю, над которой мы работали вместе“...

Андреев, как я уже говорил, был очень предан Среде и всегда о ней заботился, привлекая интересных людей.

„Отец!—пишет он мне однажды.—Завтра соберется у меня народ, братия литературная и прочая. Будет Вересаев, желающий с тобой познакомиться,—приятнейший будущий член для наших Сред. Приходи обязательно“.

И Вересаев становится с той поры нашим товарищем.

„Отец!—присылает он в другой раз коротенькую записку.—В Петербурге я говорил Короленке, что Среда его ждет. Сегодня он приехал в Москву, но до Среды остаться не может,—поэтому назначь Среду на понедельник“.

И Среда (хотя и в понедельник) провела с Короленко очень интересный вечер.

Однажды Андреев привез к нам новичка. Как в свое время его самого привез к нам Горький, так теперь он сам привез на Среду молоденького студента в серой форменной тужурке с золоченными пуговицами.

— Юноша талантливый,—говорил про него Андреев.—Напечатал в „Курьере“ хотя всего два рассказа, но ясно, что из него выйдет толк.

Юноша всем понравился. И рассказ его „Волки“ тоже понравился и с того вечера он стал членом Среды и ее посетителем. Вскоре из него выработался писатель—Борис Зайцев.

Андреев любил Среду, очень ценил ее отзывы, и не поделиться с нею новинкой было для него почти недопустимо. Он всегда говорил: „Пока не прочту Среде,—никакую вещь свою не считаю законченной“. Даже когда он уехал за границу, где пробыл почти год, его и оттуда тянуло выслушать мнения старых товарищей.

В Берлине он расстался навсегда с своей знаменитой подруженкой и, по словам его шуточного письма, написанного даже по-немецки, ходил по городу „ин силиндер, унд рок, унд овэ борода“...

Вот как описывает он сам свое отношение к Среде:

— „Милый мой Митрич,—писал он мне в 1906 году,—удрал я с совета нечестивых и сижу в Берлине, проживу зиму. Работать тут удобно, но без милого народа—скучно. Очень даже скучно! Как подумаешь про Среды и братию, что их нет, так тошно станет. Живу я здесь совершенно обособленно, и как-то не хочется обзаводиться новыми знакомствами: жалко старых, и не теряется надежда к ним вернуться. Рассчитываю очень много работать. На днях должна родить Шура—вот ближайшая забота... Напиши, как ты живешь, как настроение, дела, работа; много не пиши, не стоит, а немножко надо, чтобы уже совсем не порвалась связь. Жалко, что вся наша братия и я в том числе—не любит писать писем; при заграничном житии получается полная оторванность от родины. Продолжая быть настойчиво членом Среды, буду присылать тебе мои вещи для прочтения и обсуждения. На днях пришлю тебе две штуки: рассказ „Елеазар“ и пьесу „Жизнь человека“. О первом можно и не говорить, но вторая вещь по форме новая,—опыт в

некотором роде нового строительства пьесы. Поэтому я очень прошу тебя, сообщи, как отзовется Среда. Ее советы и мнения всегда были мне важны, а в новом деле, в котором я еще сам иду ощупью,—наипаче. И прошу тебя особенно: да не узнают репортеры про „Жизнь человека". Предупреди товарищей, чтобы никому не передавали содержания, а рукопись хранили у себя и выдавай только под расписку. Будет очень неприятно— прямотаки вредно для пьесы, если газетчики заранее наболтают глупостей. Голоушев писал в свое время, что „Савву" читали очень плохо. Так скажи тому, кто будет читать в этот раз, что читать нужно, как книгу, без игры и особой выразительности. Просто читать и больше ничего. Скажи милым, что кто может, пусть напишет пару строк о своем житье. Всех их я целую самым нежным образом,—просто скучно писать! Упрекни Зайчика, почему не отвечает мне, получил ли он мое письмо? Настроений не имею, ибо работаю. Когда прочитаю русскую газету, впадаю на некоторое время в меланхолию. Здоровье мое неважно. Литература—настраивает дела недурно. Вот не знаю, как в России встретят „Савву", а здесь вообще идет хорошо. Ставится и на будущем месяце пойдет в „Клейнер Театер" „К звездам". В Вене народный театр также ставит „К звездам". В другом венском театре, говорят, хорошо идет „Савва". О революции не буду писать ни слова, по меньшей мере, год. А может и два. Плохо писать не стоит, а хорошо написать сейчас невозможно. Крепко тебя целую. Твой Леонид. Берлин, Грюневальд, вилла Кляра.—Хорошая, брат, вилла: живу прямо в райской местности. Зелень и цветы".

После смерти жены Андреев бывал в Москве только наездом, а жил сначала на юге, потом в Петербурге, потом, когда вторично женился, уехал в Финляндию, выстроил себе там дачу и уединился. Однако с некоторыми товарищами по Среде вел переписку и время от времени присылал нам свои новинки в рукописях, преимущественно пьесы: „Анатэму", „Царь-Голод" и другие.

„Поклон старушке-Среде,—писал он мне в 1909 году из своей Райволы...—Если захочешь видеть меня, как меня,—выбери несколько деньков и приезжай погостить, буду чрезвычайно рад. Только в деревне я человек".

„Совсем я расхворался: что-то с нервами, что-то с сердцем, что-то с головой—все болит, и особенно распроклятая голова... С февраля и по днесь я не написал ни единой строки. „Анатэма“ давно продан, и деньги давно получены, и денег тех уже нет—разошлись по долгам. Но что поделаешь, когда голова болит, и болит, и болит... Устал я“.

Одно время пустили слух, что Андреев зазнался, что не помнит друзей и т. д. Конечно, как и раньше, все это было неправдой. Вот письмо от 1913 года полное внимания и дружбы.

„Писал мне Белоусов, что ты был нездоров. Шлю тебе по этому поводу всяческое мое сочувствие и привет. Видимся мы редко, но словно мы с тобой друзья детства, так много места ты занимаешь в моей душе и сидишь там крепко. И всегда хочется видеть тебя и всегда чему-то веришь, чувствуешь как бы некоторую опору... Много я работал за этот год, устал. И вот уже 4 дня хвораю: плохо сердце, не выдерживает большой нагрузки, прогибается. Вообще—мерзкое здоровье, а грехов, кроме работы, нет никаких. Да еще разные подлецы подзуживают, подспиживают нахаживают“...

Во всех его письмах за целый ряд лет, когда он не жил в Москве, всегда есть заботливые вопросы про Голоушева, Шмелева, Белоусова, всегда находится несколько ласковых слов о „старушке-Среде“ и о старых товарищах...

В разгаре последней войны, когда мы задумали издать в Москве сборник „Клич“, Андреев немедленно прислал нам свою „Младость“; в сборник для пленных прислал новый рассказ. Вообще всегда был отзывчив, внимателен и вел себя всегда как добрый товарищ.

„Спасибо за „Клич“,—писал он мне в 1915 году.—Много хороших вещей... Бунин, как во всех последних вещах, идет на круглой пятерке. Но растрогал меня до слез!—Тренев. Если знаешь его, скажи ему от меня моей души спасибо!.. О, еслиб я был здоров! Сейчас на мое обычное нездоровье сел сверху стрептококк. Ты его знаешь? Он хуже крокодила... Ах, хорошо бы собраться летом небольшой дружеской компанией в 4—5 персон и ахнуть в Соловки, на Белое море—или куда там!.. Сейчас во второй раз прочел Тренева—и опять реву как белуга. Молодец!..“

В течение почти двадцати лет, когда я знавал Андреева, часто видал его и в обществе, и в семье, и на работе, я всегда

знал его как человека с ласковой хорошей душой, умного, интересного собеседника и верного товарища. За целый ряд лет отдавал он Средам много внимания и заботы, вносил много своего выдающегося дарования и делился с первыми с нами почти всеми своими лучшими произведениями. В последний раз он читал нам своего „Самсона". Дело было перед самой революцией. А затем—события отделили его от нас. Он остался в Финляндии, по ту сторону границы, и никаких писем, никаких сведений о нем у нас не было долгое время. Когда в 1919 году дошло к нам сюда краткое газетное сообщение, что писатель Леонид Андреев умер от паралича сердца, мало кто поверил в правдивость этого известия, хотя, конечно, ничего невероятного здесь не было. Почти целый год мы не верили, точнее, не хотелось нам верить в это, не хотелось признать. Но пришло время, когда сомнениям не стало уже места. У старушки-Среды „Некто в сером" загасил яркую свечу, именуемую жизнью человека... Случилось это 12-го сентября по новому стилю.

Вспоминая Андреева, невольно вспоминаешь теперь самим им сказанное когда-то:

— „Горька бывает порой, очень горька участь русского писателя. Но великое счастье—им быть!"

Стоят: Бунин Ю. А., Зайцева В. А., Грузинская А. М., Грузинский А. Е., Телешов Н. Д., Андреева А. И., Телешова Е. А., Разумовская А. С., Разумовский С. Д., Зайцев, Б. К.
Сидят: Голоушев С. С., Бунина В. Н., Андреев Л. Н., Бунин И. А., Белоусова И. П., Белоусов И. А.

САМОУЧКА

САМОУЧКА

В восьмидесятых годах жил в Москве Алексей Иванович Слюзов, очень тихий и простой человек, лет двадцати семи, среднего роста, с темной бородкой и ясными добрыми глазами. Носил он обычно длинный сюртук и синюю косоворотку, а в карманах у него всегда лежали стихи—в рукописях, в гранках, в брошюрах. Особенностью его было не то, что он сочинял стихи, но то, что не писать стихов—он не мог. В стихах была вся его радость, все его горе, в них была вся его жизнь. Это был крест его жизни, который, однако, он нес до гробовой доски с необыкновенной любовью, и верил, что крест этот несет он не зря.

Слюзов—не только автор многочисленных стихотворений, но и издатель многих сборников, преимущественно мелких брошюр в 30—50 страничек. И не только писал и издавал он их, но и торговал ими в разнос, появляясь то на Волге, то на Дону, то в Москве. Издавал он и компанейские сборники стихотворений начинающих авторов „самоучек" и неудачников. Появляясь в каком-либо городе, он прежде всего старался узнать, нет ли где людей, пишущих стихи, и нельзя ли этих людей перезнакомить между собою, чтобы общими силами и на общие средства издать брошюрку. О своем происхождении и о первых шагах Слюзов сам рассказывает довольно откровенно в предисловии к одному из таких сборников.

Родился он в Казани, в 1858 году, в семье приказчика. Вскоре отец его, оставив службу, открыл свою бакалейную торговлю, к которой стал приучать 9-летнего сына, успевшего пройти только один класс приходского училища. Молодой Слюзов сидел в лавке, езжал с отцом по ярмаркам, почитывал украдкой книжки и, будучи уже юношей, начал тайно от родителей писать в свободное время стихи, которые затем издал в 1882 году

— „Матушка дала мне денег на издание, но выдумку мою не одобрила“,—пишет Слюзов. „В том же году я издал еще вторую брошюрку на займы у товарищей, а через год издал третью: „Рассказы и сцены“ и сделал публикацию о предложении издать сборник начинающих поэтов на общие средства. По публикации нашлось 10 авторов, и мы издали сборник в 43 страницы“.

Насколько его интересовала бакалейная торговля и как сладка была жизнь, можно судить по следующему стихотворению:

— „Так же идут дни за днями жизни скучной нашей, так же мы едим, как ели, те же щи да кашу; те же мелкие расчеты убыли, наживы нас и радуют и мучат, пока все мы живы. И века еще продлятся, нас уже не будет, а житье мещан все то же, то же, то же будет. И из этой скучной жизни рвусь я по неволе на простор искать куда-то лучшей в жизни доли. Пусть в борьбе нужда подкосит молодые силы, но сменить я жизнь пустую рад и на могилу“.

Вскоре Слюзов лишился матери, о которой всю жизнь вспоминал с благодарностью и благоговением. Отец его женился вторично, но Слюзов с мачехой не ужился и был отпущен отцом с радостью „на все четыре стороны“, как говорит сам Слюзов. С этого времени и начинается для него тяжелая жизнь. Казанские, самарские и другие провинциальные издания охотно печатали его стихи, но денег за них не платили, а если иногда некоторые и платили, то такие гроши, на которые нельзя было жить даже и впроголодь. Приходилось задумываться о „месте“. Но без всякой рекомендации, да еще с паспортом купеческого сына, Слюзову приходилось встречать лишь подозрения, крайне обидные. Искание места не охладило, однако, Слюзова к издательству, и он издал вновь четыре брошюры стихов и один сборник на общие средства, в котором участвовало 15 авторов. Заканчивается автобиография тем, что, простившись с родным углом, Слюзов уехал в Москву искать работы.

— „Снилась мне разлука с садиком моим... Я прощался с каждым деревцом родным. Маленькими, помню, я их насадил. С ними я, прощаясь, грустно говорил: „Садик мой зеленый, навсегда прости, будь благополучен, расцветай, расти... Уж твоих плодов мне больше не срывать и в тени прохладной больше не лежать“...

Явившись в Москву, он прежде всего публикует в газетах о желании издать сборник и призывает начинающих авторов к совместной работе по издательству, затем печатает свои новые стихотворения отдельной маленькой книжкой, быть может, уже десятой по счету.

Я познакомился с Слюзовым в 1885 или 1886 г., когда он приехал в Москву, полный надежд, и когда нужда и горе еще не успели подорвать его силы.

Жил он очень бедно, но без нужды, имея на черный день триста рублей, скопленных за пятнадцать лет торговых занятий, но и эти деньги у него были вскоре отобраны благодаря его доверчивости и простодушию. Однажды он явился ко мне, сияющий и счастливый: директор одного из правлений пожелал помочь Слюзову и принял его на службу в общество с жалованьем по рублю в день, но с залогом в 300 рублей. Как рад и счастлив был тогда Слюзов! Но радость его была не долга: залог взяли, места не дали и 300 рублей пропали за директором, который обездолил Слюзова на всю жизнь, чтобы отсрочить свой крах на несколько дней, или часов.

— Последние деньги у меня стащили,—жаловался мне впоследствии Слюзов.—Теперь уж не могу жить привольно. Нужно опять становиться за прилавок.

И на последние десятки рублей он открыл возле Курского вокзала торговлю: продавал извозчикам булки, селедки, подсолнухи и горячую колбасу, которую тут же поджаривал в маленькой железной печке, но месяца через два уже жаловался:

— Что-то плохо торгую; место надо переменить.

И переехал на Цветной бульвар, где сначала была у него в лавке та же жареная колбаса, а через полгода остался лишь тесовый ящик с рукописями, газетами и сборниками.

— Пролетел!—грустно смеялся над собою Слюзов.

На судьбу он часто жаловался, но о людях я никогда не слыхал от него дурного слова. Ненавидел он только свою мачеху. Зато уже ненавидел до бешенства, до несправедливости; даже есть стихотворение, начинающееся так: „Мачеха, мачеха, чтоб тебя черти забрали в ад поскорей!“ Вообще о ней Слюзов никогда не мог говорить без крайнего раздражения. Но про того же директора, который его разорил, он говорил очень снисходительно:

— Не пошла ему на пользу моя беда: все равно, кридиторы у него все отняли.

В связи с своим разорением и, как он выражался, „пролетевшей торговлей“ и дававшей уже себя чувствовать нищетой и полной безработицей, Слюзову пришлось пережить личную тяжелую драму.

— „Ой, девица бестолковая, не люби ты парня бедного. Ты послушай бабу старую, а скажу я правду-истину: вот как есть-то будет нечего, одеженка истаскается, да по детям малолеточкам все сердечко исстрадается,—так раскаешься, вздыхаючи, свою долю проклинаючи. Ой, послушай, бестолковая: не люби парня бездомного! Так старуха красну-девицу научала уму-разуму, а девица молча фартуком утирала слезы горькие. Она плакала да думала: хорошо учить-советовать, а вели-ка быстрой реченьке воротить назад течение“!..

Нищета с каждым днем становилась ощутительнее. В борьбе с нею Слюзов нанялся было в работники, но через месяц отказался:

— Заставляют шестипудовые ящики на спине носить, а я так измучен, что трех пудов поднять не могу.

Наступили опять безработица и нужда, и „старая баба“ из стихотворения восторжествовала: Слюзов уехал внезапно из Москвы в Ростов на Дону, откуда лишь через год я получил от него известие, что живет он недурно: торгует в разнос галантерейным товаром и своими двумя новыми книжками, которые издала какая-то типография, разумеется, без всякого гонорара, и верит автору в кредит не более десяти экземпляров.

— „Написал бы вам и раньше, да вышла заминка в делах: товара имею на 1 руб. 30 коп., а наличных от выручки не хватало на марку: все уходило на хлеб да ночлег“.

К письму приложено было несколько стихотворений на обычные его темы—о лишениях и утратах:

„Всю могилу понакрыла молодая ива, а вокруг растет могилы жгучая крапива. Не пускает та крапива казака босого,—точно мать от дочки гонит бедняка-милого.—Ой, ты жги, крапива, ноги, жги больней, больнее. Меня люди не жалеют, жги ты, не жалея. Так казак сказал, а ветер речь понес и вскоре разболтал травинке каждой о казачьем горе. На траве кобзарь в ту пору отдыхал, и кашка кобзарю то разболтала, как казак бедняжка плакал долго на могиле, причитая только:—Гой, ты, Катря моя, Катря, зорька моя, зорька“...

С тех пор я не видел более Слюзова, хотя переписывался с ним лет около 12. То получал я письма из Ростова, то из Самары, то откуда-нибудь из провинции, и всегда в этих письмах имел известие, что Слюзов издал новую брошюрку или новый сборник и что хорошо торгует ими в разнос, но наличность „кассы“ редко позволяет ему истратить 7 копеек на марку.

— „Матушка, милая,—вести печальные с родины я получил: будто могилка твоя обвалилася, крест повалился; подгнил; вся заросла она травушкой сорною—некому травку сполоть. Вновь возвратиться на родину милую ты помоги мне, господь! Я бы песочком усыпал могилушку, я бы слезами ее окропил, знала бы ты, что далекий от родины, сын твой тебя не забыл!“

Так писал Слюзов, намереваясь посетить, наконец, свою родину—Казань, где в сырой земле лежала его мать, о которой он всегда вспоминал, в радостные и тяжелые минуты жизни.

— „На могиле скорбя, одинокий стою, вспоминаю тебя я, родную мою. Много лет не бывал у тебя я в гостях, много бед испытал у нужды я в когтях, и в Москве голодал, и в Самаре я жил, в те года и страдал, и безумно любил, и как вихорь, злой рок на меня налетал, но везде твой сынок за себя постоял. Честь и гордость пока не сломились нуждой, ради хлеба куска не кривил я душой и не сгиб под грозой, устоял я в бою—и в гостях у родной не краснея стою“.

Но неприветливо отнеслась к нему родина. После долгого промежутка я получил от Слюзова, осенью 1898 года, письмо из Казани, из Александровской больницы. Называя себя „безродным на родине“, он сообщает, что лежит уже около месяца.

... „И долго, кажется, пролежу, и, быть может, в часовню стащат... До сих пор я был торговцем в разнос, за что здесь никакой платы не берут, и колотился кое-как, да вот занемог, и больше месяца не шел в больницу, да, наконец, из сил выбился и вынужден был лечь в больницу. И не хотелось мне, ой, как не хотелось. Больница для казанских мещан бесплатная, и я лежу бесплатно. Недели две чаю не пил и не курил. Это казенное не полагается, а больные не дают: сами все казанские сироты—нищие, и я такой же оказался, дошел до „нельзя“, так что у меня осталось на 28 копеек всего товара, да на письмо к вам 4 копейки. Но несмотря на все неудачи в жизни, я доволен жизнью, как никогда не был доволен. Радует меня все:

и небо, и травка, и моя разноска, но год был тяжелый у нас и хлеб дорогой. Скучно в больнице. К больным ходят родственники, знакомые, а ко мне никого. Сирота на родине"...

В письме этом сказывалась не одна бедность, не одна беспомощность, но отчаянная и кровная обида. „Безродный на родине", „сирота на родине"—это был вопль оскорбленного умирающего человека.

Скончался Слюзов 4 марта 1900 года в больнице и погребен в родной Казани, на городском кладбище.

Пересматривая теперь целую связку брошюр в синих, красных, желтых и серых обложках, изданных в Самаре, Казани, Ростове, Москве, я невольно чувствую удивление перед энергией этого несчастного человека, не искавшего ни карьеры, ни славы, но бескорыстно работавшего всю жизнь над любимым делом и редко встречавшего что-либо, кроме насмешек.

Прав он был или нет, но он твердо верил в культурное значение русских самоучек, стихов, товарищеских сборников и дешевых изданий, надеясь, что этим путем, выражаясь его словами:

Вековечный застой разбивается:
Будет грамотен русский народ.
А где в небе заря занимается,
Там и красное солнце взойдет...

О МАЛОМ ТЕАТРЕ

О МАЛОМ ТЕАТРЕ

(в день столетия)

С самой ранней юности моей я помню Малый театр, когда, бывало, сиживал на галерке копеек за 30, где в те далекие времена не было еще обязательным отдавать верхнее платье на хранение, и поэтому случалось, что соседи мои сидели весь вечер в шубах, при температуре, примерно, градусов в 30 и жевали яблоки. Впрочем, вскоре это было прекращено.

Впервые в Малый театр я попал более полвека тому назад— пяти-шестилетним ребенком. Помню, что старшие, которые меня тогда взяли в театр, указывали мне на какого-то человека, ходившего по сцене в длинном сюртуке и часто вынимавшего из кармана красный носовой платок. Мне говорили, чтоб я постарался запомнить этого человека:

— Это—Шумский.

К сожалению, я был еще так мал, что, кроме фамилии Шумского и его красного платка, ничего в памяти моей не сохранилось. Осталось только сознание, что живого Шумского на сцене я все-таки видел.

Из старых актеров я помню Самарина на его 50-летнем юбилее в 1884 году. Это был первый парадный спектакль на моей памяти. Я был уже юношей и помню, как захватило меня это торжественное чествование, которое было устроено Самарину в Большом театре. Все, что было лучшего и талантливого в то время как прославленного, так и молодого,—все собралось на сцене, в ожидании юбиляра. В первой части пролога, написанного актером Вильде, белыми стихами, М. Н. Ермолова изображала Трагедию, а Г. Н. Федотова—Комедию. Одна у другой оспаривали Самарина, доказывая на него каждая свои

права. Из этого спора должно было выясниться, что Самарин одинаково близок и дорог как комедии, так и трагедии. Если припомнить, что имена Ермоловой и Федотовой были самыми популярными артистическими именами того времени, что обе актрисы были самыми любимыми героинями сцены, то нетрудно представить какое впечатление производило на зрителей их выступление в торжественный момент.

Во второй картине того же пролога участвовала вся труппа: старшие актрисы: Медведева, Акимова, Рыкалова, затем Федотова, Ермолова, Никулина, затем Макшеев, Музиль, Ленский, Решимов, Правдин, Садовский,—все это крупнейшие фигуры того времени. Все они участвовали в „Ряде воспоминаний", называя вместе с характеристикой великие имена предшественников, которые вместе с Самариным составляли гордость и славу Малого театра: Мочалова, Щепкина, Шумского, Садовского, и в связи с произносимым именем появлялись на экране портреты этих славных предшественников.

Настроение поднималось с каждой минутой. Наконец, возгласили:

— Самарин идет!

Хор запел „Славу", артисты выстроились для встречи, и в отворившихся на сцене дверях появился Самарин. Он был во фраке, с тростью в руках, на которую тяжело опирался. Публика встала; гром аплодисментов слился с торжественными звуками „Славы". Медведева, Федотова и Ермолова, поддерживая под руки юбиляра, помогли ему дойти до авансцены и усадили в кресло... Это было последнее общение Самарина с публикой, последние проводы его со сцены, которой он отдал полвека жизни. Участвовала в торжестве вся Москва. Островский написал стихи для заключительного хора, которые кончались словами:

„Ему венки и поклоненье,
Бессмертье имени его".

Помню, на этом торжестве было много восторгов, много любви и уважения и много хороших слез... Здесь же я впервые увидел А. Н. Островского, выходившего на вызовы в качестве автора „Леса", один из актов которого был в этот вечер поставлен.

У Малого театра были не только зрители и поклонники, более или менее восторженные, у него были и настоящие друзья, испытанные и неизменные. Как на сцене на смену отцам приходили их сыновья, а дочери сменяли своих матерей (например, семьи: Рыбаковых, Садовских, Яблочкиных, Музиль...), так и в публике от отцов к детям переходили вместе с рассказами о минувшем симпатии и уважение, и театр был для целых поколений близким и своим, точно родным. И близость была старинная, прочная, я бы сказал даже, взаимная: сцена любила свою публику, а публика любила свою сцену. Кроме того, в жизни москвичей театр сыграл большую культурную роль. Недаром же говорилось, что в Москве два рассадника истинного просвещения: Московский университет и Малый театр. И оба они, каждый по своей линии, давали тон—думаю, что не ошибусь, если скажу—для всей России.

В репертуаре Малого театра мы привыкли встречать, помимо русских классиков—Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Островского, еще и классиков иностранных: Шекспира, Шиллера, Гете, Гюго, Кальдерона, Мольера, Лопе-де-Вега... Среди неизбежной современщины, весьма неодинакового достоинства, нас знакомили и с выдающимися произведениями мировой литературы; и при этом в замечательном исполнении.

Далеко не все современники имели счастливую возможность быть окруженными культурным обществом, встречаться с яркими людьми, слышать убедительные слова о высоких человеческих идеалах, видеть высокие примеры, загораться светлыми порывами, исходящими от окружающих. Нередко а то и обычно, людей окружает проза жизни, та практическая сторона ее, которая приближается к заботам о завтрашнем дне, о будущем гнездышке, об узком эгоистическом благополучии; можно было прожить целую жизнь и не услышать ни от кого вокруг ни единого слова об ином долге, об иных обязанностях, о самопожертвовании, о любви к истине и преданности высоким идеалам, о красоте и величии искусства. Тогда как здесь—из года в год—в ярких примерах и живых образах, в увлекательных и убедительных комбинациях звучала великая и вековечная правда жизни, которую ждали, искали и откликались на нее всем сердцем...

Со сцены широким потоком лилась в зрительный зал вековечная правда жизни, справедливость к униженным и угнетенным

и красота всепрощающей любви. Чуткая молодежь, в душе которой горели те же огни, созревали те же отношения к явлениям жизни, ловила каждое слово, звучащее в тон,—и между зрителями и актерами росло и крепло трогательное единение.

Выходили из театра удовлетворенные, освеженные, с высоким под'емом.

В то время, о котором я говорю, ко всякой основной пьесе, как бы серьезна или значительна она ни была, прибавлялся в конце вечера еще и водевиль, а то и два: один для с'езда, другой для раз'езда публики, и в этих водевилях участвовали нередко артисты с крупными именами и пели даже куплеты под музыку.

На теперешний взгляд, много было странного, наивного, может-быть, даже лишнего в Малом театре. Например, оркестр. Между рампой и первым рядом кресел было отгорожено место, где сидели человек 20, с флейтами, скрипками, трубами и барабаном; перед суфлерской будкой задом к музыкантам, на возвышении помещался дирижер во фраке, с палочкой в руке и в белых перчатках. Без оркестра не мог обходиться тогда никакой спектакль: так уже велось исстари. Перед началом играли, обычно, отрывок или попури из какой-нибудь оперы или оперетки, а между действиями, заполняя антракты, играли нередко танцы. Когда музыканты, окончив свою работу, уходили вниз и скрывались за дверью, над рампой взвивался занавес и со сцены раздавались первые слова актеров.

В то время электричества еще не было, и театр освещали газом. Теперь нет этого специфического театрального запаха, но этот крепкий газовый дух, этот театральный аромат, мне особенно памятен и даже дорог и мил, потому что с ним связаны первые впечатления, первые увлечения, и, прямо скажу, откровения, вынесенные мной из Малого театра; они глубоко меня волновали и наполняли радостью мою юную душу.

У меня сохранилось такое воспоминание об этих годах и этих стульях с красными триповыми сиденьями, что и теперь, лет через сорок, когда я прихожу в театр, где давно уже уничтожен и оркестр, и самое место оркестра, и где уже давным давно не нахнет газом ни в коридорах, ни за кулисами, я с радостным и теплым чувством вспоминаю о былых днях и о славных артистах. Многих уже нет на сцене, а многих нет и в жизни.

На первых представлениях в театре можно было наверняк встретить профессоров Московского университета, обычно: Веселовского, Стороженко, Муромцева, Юрьева, а также известных писателей, критиков, редакторов и общественных деятелей. Здесь видал я Островского, который, бывало, на вызовы вставал и кланялся из директорской ложи; присутствовали и драматурги: Боборыкин, Шпажинский, Невежин. Всегда на всех премьерах в течение, по крайней мере, четверти века, на одном и том же боковом месте амфитеатра можно было видеть, с морским биноклем через плечо известного критика того времени Флерова-Васильева... Показателем успеха новой пьесы были вызовы автора. Так, если вызывают автора по окончании пьесы, это только вежливость; если вызывают после третьего акта, это уже знак добрый; а если после второго—значит, автор с настоящим успехом. Случалось и так, что вокруг автора завязывалась в публике борьба: одни стучали и вызывали, а другие шипели и шикали. В таких случаях, вместо автора, выходил к рампе помощник режиссера и громко заявлял, что „автора в театре нет", и это ликвидировало страсти. Но подобные несогласия в публике случались все-таки крайне редко.

Среди всегдашних посетителей премьер нельзя не вспомнить высокого, сухощавого, в то время молодого человека—коллекционера Бахрушина, в течение десятков лет не пропустившего ни одной новой постановки. Как в театральном зале, так и в клубе, так и на улицах, и на Сухаревском рынке,—всюду интересовался он театром, театральными предметами, актерскими вещами, старыми портретами, письмами и т. п. К этим его интересам в свое время многие склонны были относиться с улыбкой, как к непонятному чудачеству, и даже называли его нередко „театральным старьевщиком" за то, что он собирал и иногда выпрашивал и, что страннее всего, даже покупал, платя за разное старье хорошие цены. В то время вряд ли кто серьезно думал, что лет через 30 Бахрушин соберет такой театральный музей, который по значению своему будет известен не только в России, но и далеко за ее пределами.

Привычно думать, что от творчества актера не остается после его смерти ничего кроме воспоминаний современников. Великие вдохновения поэтов и художников, облеченные в образы, передаются потомству во всей их силе, красоте и неприкосновенности. В иных условиях находится вдохновение актера. По словам Шиллера:

„Его мгновенное созданье
Бесследно гибнет вместе с ним"...

При жизни—актер творец; он учит и волнует и очаровывает, а умирает актер—и не остаются без него жить его создания, Они живут только в сердцах свидетелей.

Вот почему все, могущее осветить тайну творчества актера, пролить свет на его артистическую работу и на его жизнь, является полным смысла и значения.

К счастью, история театра, деятельность, жизнь и творчество артистов нашли отражение в Бахрушинском музее, который на сохраненных от разрушения и потери предметах и документах, рисующих душу актера, передаст потомкам лучше всякого современника о больших культурных заслугах и об историческом значении Малого театра.

В прежнее время режиссер не имел того значения, какое имеет теперь. Он заботился больше о порядке, чтобы все было готово, что нужно. Роли назначали артистам обычно сами авторы, а в случае их отсутствия, это выполнялось старшими артистами. Они совещались, они решали все насущные вопросы. Постановка пьесы являлась в своем роде творчеством коллективным. Они же, эти старшие, по свидетельству самих артистов, приучали молодежь любить дело, а не свой личный успех.

Декорациям не отдавалось тоже слишком много внимания. В течение долгого срока, я помню, шкафы, библиотеки, камины,—все это делалось краской и кистью прямо на стенах; в зеркалах были не стекла, а тоже серая краска; и двери и ручки у дверей были нарисованные; и картины не вешались на стенах, а рисовались вместе с рамой и даже с тенью от рамы. И мебель нередко переходила из одной пьесы в другую... Однако все это не мешало артистам действительно увлекать и потрясать сердца, а зрителям не мешало видеть в пьесе именно то, что было нужно, и отдавать артистам свои искренние восторги Очевидно, для единения зрителя и актера одного воздействия недостаточно необходимо еще и восприятие. Недаром, в одной из своих речей Ф. Н. Плевако, знаменитый в то время оратор, говорил:

„Смотреть пьесу—тоже есть труд и тоже—уменье"...

В Московском „Литературно-Художественном кружке“ в свое время висело большое полотно кисти Валентина Серова, где в обстановке кабинета были изображены во весь рост Южин и Ленский, два артиста, имевшие громадное влияние на жизнь Малого театра за целый ряд последних десятилетий. Помещенные на одном полотне эти портреты всегда вызывали воспоминания о совместных выступлениях Южина и Ленского на сцене в одних и тех же пьесах одновременно,—и в памяти возникали при взгляде на оба эти лица, яркие образы то Лейстера и Мортимера, то маркиза Позы и Дон-Карлоса, то принца Оранского и Эгмонта. А вспоминая Эгмонта-Южина, невольно вспоминаешь Клерхен-Ермолову, под гнетом тирании добровольно уходящую из жизни; видишь на опустевшей сцене последними вспышками угасающий забытый светильник—эмблему наступающей смерти—под тихие звуки Бетховенской музыки, полной исключительного настроения... А вспоминая Ленского, видишь его Уриэлем Акоста и рядом с ним Медведеву в сцене, когда приходит к сыну слепая мать. Точно в волшебном калейдоскопе, начинают перебрасываться в памяти и стройно группироваться и вновь разбрасываться сценические фигуры, знакомые лица, то в гриме, то так, какими были они в частной жизни, вне сцены. И вспоминаешь без конца этих милых, близких, хотя и незнакомых в то время людей, но хорошо знаемых и нередко любимых. Вспоминается городничий-Макшеев, Никулина, несравненная в комедийных ролях, и обаятельная, вечно укрощаемая, но неукротимая Лешковская с ее своеобразной яркой силой дарования; вспоминается Музиль и Рыбаков в образах Шмаги и без вины виноватого Незнамова; Михаил Садовский—многогранный и глубокий талант; жена его, Садовская—лучшая изобразительница старух, которых начала играть еще смолоду, то комических, то трогательно-нежных; это ее голос над колыбелью в „Воеводе“ я слышу через три десятка лет и ее тихую песенку, пленявшую неизменно всякий состав публики, как бы разнообразен он ни был. Вспоминается Дездемона-Яблочкина с великим гостем Малого театра, с самим Томазо Сальвини в роли Отелло.

На моей памяти в Малом театре были одновременно две самые знаменитые артистки: Г. Н. Федотова и М. Н. Ермолова, которых я застал на сцене в полном расцвете их исключительных сил и дарований. Они в течение долгого срока несли на себе

почти весь репертуар вместе с своими достойными партнерами—Ленским, Южиным и Рыбаковым. Как в пьесах классического репертуара, так и современного, артистки давали незабываемые образы. Перечислять те роли, которыми они прославили свои имена, это значило бы выписать почти все, в чем они выступали. Но вот сцена из „Марии Стюарт", где обе они, Ермолова и Федотова, встречаются, как две королевы, как две смертельные соперницы. Много лет прошло с тех пор, когда я был свидетелем этого потрясающего столкновения, но не забыл и не могу забыть ни впечатления, ни лиц, ни голосов их.

Незадолго, всего лишь за несколько недель до смерти Г. Н. Федотовой, я навестил ее, тяжким недугом и преклонным возрастом прикованную уже много лет к постели.

С поступления в театральную школу и до конца ее дней она была связана с Малым театром 68 лет, и когда она говорила о своем родном театре, к ней словно возвращались силы, и она рассказывала много и хорошо о былом.

Ей не было еще 17 лет, она только что вышла из театрального училища и не знала ни людей, ни жизни, а ей поручили в бенефис П. Васильева ответственную роль Катерины в „Грозе".

— Тоска, стремления Катерины, ее греховные помыслы, ужас совершившегося и гнет окружающих—инстинктивно все это я чувствовала, но передать не умела,—вспоминала Гликерия Николаевна. Самарин очень помогал мне изучать эту роль, об'яснял правдиво и ярко все душевные движения Катерины, но внешняя передача, бытовая сторона нам обоим не давалась. На репетициях помогали все: Пров Садовский, Васильев, Рыкалова, Бороздина, Акимова—все, все. А что вышло из этого во время представления?—я ничего не сознавала от страха.

— Впоследствии я больше всех других ролей любила Катерину, и больше и больше сживалась с этим дивным трогательным образом. В последний раз я сыграла и простилась с бедной Катериной, когда мне было уже 52 года. Стало-быть, я играла ее в течение 35 лет.

Шекспир и Островский, Шиллер и Аверкиев и все другие авторы, от классиков до современников включительно, всегда находили в Федотовой искусную истолковательницу образов, характеров и положений. По силе чувства, по яркости, по художественно-тонкой обрисовке фигур, темпераменту—Федотовой принадлежит первенствующее значение и место на русской

сцене. Писемский признается, что об'ездил всю Европу, переглядел все театры, видел много хороших актрис, но „другой такой актрисы, как Федотова,—по полноте чувств, нигде нет. Сойдет она со сцены, и другой такой не дождемся".

Значение Федотовой было огромно. Когда вследствие тяжкого недуга она принуждена была сойти со сцены, влияние ее не ослабело. К ней за ее мудрыми советами прибегали не только ее товарищи и сверстники по сцене, не только молодежь Малого театра, но и многие из артистов и руководителей Художественного театра с самим Станиславским во главе.

Вот что говорится, между прочим, в письме к Федотовой от имени Московского Художественного театра в день ее 50-летнего юбилея:

„Наши первые шаги обвеяны духом вашей чудесной энергии... На протяжении слишком двух десятков лет мы не имеем перед собой примера более яркого, более блестящего, как пример вашей артистической личности... И лучшее выражение благодарности, какое мы можем принести вам сегодня, в день вашего полувекового горения для искусства, это наше обещание передавать ваши заветы дальше—следующим поколениям. В этом обещаем и клянемся".

И вот как отвечала на это Художественному театру Гликерия Николаевна (14—I 1912 г.):

...„Еще в те далекие дни, когда кружок молодых людей, охваченных любовью к искусству, дружной сценической работой посеял то зерно, из которого вырос Московский Художественный театр, я всей душой участвовала в этом деле, помогая по мере сил моих любовью и советом. С чувством глубокой признательности, выслушав привет вашего, ныне славного театра, радостно принимаю ваш обет—непрестанно служить тем великим заветам, которыми вдохновлялись мы и отошедшие великие учителя наши. Всей душой любящая вас Гликерия Федотова".

Необходимо коснуться одного многолетнего недоразумения. В публике всегда считали Федотову и Ермолову соперницами; им приписывалась непримиримая рознь, борьба и почти вражда. Их считали и в жизни и на сцене вроде двух королев из „Марии Стюарт". И было время, даже продолжительное время, когда сама публика разделилась невольно на два лагеря: на федотовцев и ермоловцев.

— На самом же деле, в жизни мы были все время друзьями, самыми близкими,—говорила мне Гликерия Николаевна.—Отношения наши были всегда самые сердечные, дружеские и дружба эта сохранилась до сих пор.

Прежде, чем взять какую-нибудь роль, обе они обычно советовались между собой, которой из них эта роль больше подходит, и решали это сообща, никогда не переходя друг-другу дороги. На спектакле бывало, Ермолова не выйдет на сцену без дружеского напутствия Федотовой. Передо мной лежит подлинное письмо М. Н. Ермоловой, которое начинается следующими словами: „Дорогая, родная, любимая Гликерия Николаевна, я была в таком горе, что без вашего благословения буду вчера 2-го мая. И вдруг перед самым выходом на сцену я получаю ваше благословение... С моей души точно камень свалился...“

Письмо это передано в Бахрушинский музей и послужит для будущего историка Малого театра материалом к выяснению действительных отношений между двумя великими артистками.

По словам К. С. Станиславского, — все были влюблены в Ермолову.

Да, лучше этого ничего не скажешь. Она действительно покоряла все сердца. Может, и были какие-нибудь исключения, но я за всю мою жизнь не встречал ни одного такого человека, который был бы равнодушен к ней, не превозносил бы ее имени, не любил бы ее. Невозможно было притти в Малый театр, видеть Ермолову и не заразиться общим настроением, общей любовью к ней.—Ермолова никогда, я бы сказал, не играла роль; она в буквальном смысле слова жила на сцене жизнью той женщины или девушки, имя которой в этот вечер она носила. Она не играла, она горела. Героический энтузиазм, пламенное вдохновение,—ее стихия. Все эти определения, много раз повторенные в разное время, совершенно верны и точны, и их не избежишь. Восторженный и гневный талант. Восторженный в высокой любви и гневный в борьбе за высокое. „Страстная любовь к свободе и не менее страстная ненависть к тирании — вот внутреннее содержание игры Ермоловой“, по счастливому определению современников.

К духовному под'ему, который отличает игру Ермоловой, присоединяется еще и необычайный тембр ее голоса, проникающего

в глубину души, очаровательного не красотой своей, а какой-то проникновенностью, каким-то неуловимым, но значительным содержанием. До сих пор для меня,—да я уверен, что и для очень многих,—звучит, как живой, этот исключительный голос.

40 лет тому назад Малый театр поставил „Орлеанскую Деву". Сила вдохновения, проявленная здесь Ермоловой, была несказанно велика и захватила всех зрителей от мала до велика. Кипела душа на сцене, а в зале в ответ горели сердца. Когда взятую в плен Иоанну Д'Арк уводят солдаты, а прибежавший граф Дюнуа горячо взывает:

„К оружию!.. Все войско в строй!
Спасти ее во что бы то ни стало!"

то с уверенностью можно сказать, что вся тогдашняя молодежь в эту минуту готова была перескочить через рампу и кинуться спасать Ермолову,—настолько велик был под'ем, настолько сильно было слияние зрителей со сценой.

В этом спектакле, в роли Дюнуа участвовал молодой артист Южин, пылкий и вдохновенный, с прекрасными манерами и замечательным голосом по выразительности и красоте. Если не ошибаюсь, это была одна из первых его ответственных и ярких ролей; это было одно из первых его выступлений на славный путь, по которому он с таким под'емом и такой честью несет до сего дня не только колоссальный артистический и литературный труд, но еще и бремя административной работы во главе Малого театра.

Много прошло времени. Но и сейчас, когда приходится бывать на этой исторической сцене, на которую так много лет глядел я из зрительного зала, куда слетало с этой сцены и неслось ко всем нам, пришедшим людям, великое и светлое вдохновение, что поднимало дух и возвышало нас и влекло вперед к добру и свету, я и сейчас испытываю чувство радости и благодарности за пережитые здесь в молодости многие часы очарования и действительного счастья.

Вот почему в день 100-летия Малого театра мне, зрителю, посещавшему этот театр в течение полувека, хочется думать о нем, как о старом друге.

СПИСОК ИМЕН, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ВОСПОМИНАНИЯХ

Андреев Л. Н. 10, 12, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 54, 55, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.
Андреева А. М. (Виельгорская) 66, 67, 68, 69, 70.
Аверкиев Д. В. 90.
Акимова С. П. 84, 90.
Альбов М. Н. 19.
Александр III. 25.
Архипов А. Е. 12.
Ашешов Н. П. 10, 12, 41.

Бальмонт К. Д. 53.
Бахрушин А. А. 87, 88, 92.
Баранцевич К. С. 19.
Белоусов И. А. 6, 12, 24, 27, 30, 45, 67, 71.
Белый Андрей 53.
Бетховен. 89.
Боборыкин П. Д. 28, 42, 87.
Бов 29.
Богданович А. И. 19.
Большой театр 21, 39, 51, 83.
Бороздина 90.
Брюсов В. Я. 53.
„Будильник", журнал 5.
Бунины братья. 24, 30.
Бунин И. А. 9, 10, 12, 14, 24, 28, 41, 42, 43 47, 49, 52, 54. 56, 67, 71.
Бунин Ю. А. 12, 24, 31, 45, 55.
Бурцев В. Л. 57, 58.

Вагнер В. А. 19.
Васильев П. 90.
Васнецовы, братья 37.
Васнецов А. М. 41.
Васнецов В. М. 36.
Вересаев В. В. 12, 28, 42, 53, 54, 56, 67, 68.
Верхарн Эм. 38.
„Вестник Воспитания" 24, 27.
Веселовский А. Н. 87.
Вильде. 83.
Власов С. Г. 21.
Высшие женские курсы. 54.

Гальперин М. П. 56.
Гарин-Михайловский Н. М. 10, 12, 54.
Гете. 85.
Гиляровский (Гиляй) В. А. 6, 7, 8, 21, 24, 25, 26.
Гимнастическое об-во. 25.
Глаголь Сергей. 12, 30.
Гоголь Н. В. 85.
Головин А. Я. 37, 41.
Голоушев С. С. 30, 31, 43, 45, 54, 56, 59, 67, 70, 71.
Гольцев В. А. 12, 19, 22, 39, 42, 45, 46.
Горький Максим (Пешков) 10, 28, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 69.
Гославский Е. П. 12, 41, 45.
Государственная Дума. 38, 53.
Грибоедов А. С. 85.
Григорович Д. В. 6.
Грузинский А. Е. 42.
Гусев-Оренбургский С. И. 54.
Гюго. 85.

Джаншиев Г. А. 26.
Джемс Линч (Л. Андреев). 68.
„Детское Чтение", журнал 17, 23, 27.
„Друкарь", сборник. 29.
Добролюбов Н. А. 29.
Думбадзе (губернатор). 46.

Елпатьевский С. Я. 42, 52.
Ермилов В. Е. 21, 22.
Ермолова М. Н. 35, 39, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93.

Женский Медиц. инст. 54.
„Журнал для всех". 64.

Зайцев Б. К. 69, 70.
Златовратский Н. Н. 19, 23, 26, 27, 28, 29, 42, 45, 68.

„Знание“, издательство. 24. 49, 54, 65, 67.
Золя Эм. 12.

Ибсен. 31.

Кальдерон. 85.
Касса взаимопомощи литераторов и ученых. 56, 58.
Качалов В. И. 43, 53.
Ключевский В. О. 13.
Кнебель И. Н. 41.
Книгоиздательство писателей. 54, 56.
Книппер-Чехова О. Л. 53.
Консерватория. 21, 39.
Кожевников П. А. 12.
Коровин К. А. 37.
Короленко В. Г. 42, 68, 69.
Кречетов С. А. 53.
Куприн А. И. 6, 42, 43, 52, 54.
„Курьер“, газета. 41, 42, 47, 64, 68, 69.

Лавров В. М. 19.
Ладыженский В. А. 23.
Левин. 21.
Левитан И. И. 37, 41.
Ленский А. П. 13, 84, 89, 90.
Лешковская Е. К. 89.
„Листок Спорта“. 26.
Литературно-художественный кружок. 31, 37, 38, 39, 40, 41, 55, 56, 58, 89.
Литературный фонд. 54.
Лонгфелло 24.
Лопе-де-Вега. 85.
Лукин А. П. 19.

Маковский В. Е. 37.
Макшеев В. А. 84, 89.
Малый театр. 35, 36, 39, 83, 84, 85, 86, 88, 89. 90, 91, 92, 93.
Малянтович П. Н. 53.
Мамин-Сибиряк Д. Н. 19, 22, 23, 28, 42, 52, 53, 55, 67.
Мамонтов С. И. 37.
Маркс А. Ф. 10, 13.
Медведева. 84, 89.
Милан, король. 25.
Михайлов Н. Ф. 24.
Михайловский Н. К. 66.
Миролюбов В. С. 46, 64.
Михеев В. М. 19, 30, 31.
Мольер. 85.
Москвин И. М. 43.
Мочалов П. С. 84.
Музиль Н. И. 84, 85, 89.
Муравьев Н. К. 53.
Муромцев С. А. 13, 87.
„Мир божий“, журнал. 19.

Найденов С. А. 12, 42, 43, 47, 52.
„Народное Благо“, журнал. 22.
Невежин П. М. 19, 87.
Немирович-Данченко Вас. И. 19.
Немирович-Данченко Вл. И. 37, 53.
„Нива“, журнал. 10, 11.
Никитин И. С. 65.
Николай, цесаревич. 26.
Никулина Н. А. 39, 84, 89.
„Новое Время“, газета. 44, 66.
Новик И. Д. 41.

Об-во Деятелей Периодической Печати. 56, 58.
Об-во Любителей Российской Словесности. 36.
Об-во Любителей Художеств. 36.
О-во Охраны Народного Здравия. 54.
Об-во Учителей и Учительниц. 54.
Островский А. Н. 84, 85, 87, 90.
Острогорский В. П. 19, 20.

„Педагогический Листок“. 17.
Первухин К. К. 41.
Пешкова Е. П. 41.
Пешков А. М. (Горький) 42.
Поленов В. Д. 36, 37.
Попов И. И. 56.
Плевако Ф. Н. 13, 88.
Писемский А. Ф. 91.
Правдин О. А. 84.
Пушкин А. С. 59, 85.
Пятницкий К. П. 49, 65.

Разумовский С. Д. 30.
Рахманинов С. В. 51.
Репин И. Е. 36.
Решимов М. А. 84.
Росинский В. И. 41.
Румянцевский Музей. 13.
„Русское Богатство“, журнал. 66.
„Русские Ведомости“, газета. 19, 36.
„Русская Мысль“, журнал. 19, 45.
Рыбаковы. 85, 89, 90.
Рыкалова. 84, 90.

Садовские, артисты. 84, 85, 89, 90.
Сальвини. 89.
Самарин И. В. 83, 84, 90.
Сафонов В. И. 13.
Сенкевич Г. 11.
Семенов С. Т. 23, 40.
Сергеевич С. 30.
Серафимович А. С. 12, 42, 43, 54.
Серов В. А. 37, 89.
Скабичевский А. М. 19.
Слюзов А. И. 75, 76, 77, 78, 79, 80.
Синани 52, 53.
Скиталец (Петров) С. Г. 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 67.

Соловьев-Несмелов Н. А. 18, 19, 20, 24, 29, 32.
Собинов Л. В. 21.
„Современник", журнал. 29.
Сологуб Ф. К. 53.
„Среда", литературный кружок. 9, 14, 27, 28, 31, 35, 41, 42, 43, 44, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72.
Станиславский К. С. 37, 43, 52, 53, 91, 92.
Станюкович К. М. 19.
Стороженко Н. И. 87.
„Стрекоза", журнал. 5.
Суд Чести. 56, 58.
Сумбатов А. И. 39, 89, 90, 93.
Суриков В. И. 36, 37.
Суриков И. З. 18.
Сытин И. Д. 9.

Телешов Н. Д. 6, 12, 54, 56.
Тесленко Н. В. 53.
Тимковский Н. И. 23, 30, 41, 45, 53.
Тишин В. Я. 41.
Тихомировы. 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32.
Тихомиров Д. И. 20.
Тихомирова Е. Н. 20.
Толстая С. А. 44, 66.
Толстой Л. Н. 25, 40, 45.
Тренев К. А. 71.
Третьяковская галлерея. 36.

Университет, московский. 19, 39, 85, 87.
Урусов А. И. 39.
Успенский Г. И. 46.
Успенский, артист. 21.

Федоров А. М. 40.
Федоров-Давыдов А. А. 23.
Федотова Г. Н. 39, 83, 84, 89, 90, 91, 92.
Фейгин Я. А. 41.
Фескель. 12.
Филатов С. И. 57.
Флеров-Васильев С. В. 87.

Чехов А. П. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 38, 42, 45, 46, 52, 54 55.
Чехов М. П. 7.
Чехонтэ. 5, 9.
Чеховский музей. 41.
Чириков Е. Н. 12, 42, 54.

Шаляпин Ф. И. 12, 37, 44, 45, 49, 50, 51.
Шанкс Э. Я. 41.
Шпажинский И. В. 87.
Шевченко Т. Г. 30.
Шекспир. 85, 90.
Шехтель Ф. О. 39.
Шиллер. 85, 87, 90.
Шмелев И. С. 56, 71.
Шольц Авг. 49.
Шумский С. В. 83, 84.

Щепкин М. С. 84.
Щепкина-Куперник Т. Л. 23.

Хитрово Л. А. 42.
Художественный театр. 37, 42, 43, 46 52, 53, 91.

Эварницкий Д. И. 21.

Южин А. И. 39, 89, 90, 93.
Юрьев С. А. 87.
Юшкевич С. С. 54.

Яблочкина А. А. 85, 89.

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL
10003096766